

**СИН
ТАК
СИС**



4

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

4

ПАРИЖ

1979

Журнал редактируют :

М. РОЗАНОВА
А. СИНЯВСКИЙ

Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции

© SYNTAXIS 1979

Адрес редакции :

8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

« Синтаксис » появился в дни судебного процесса над Александром Гинзбургом. И в каждом номере мы старались, ставя это в задачи журнала, помещать материалы, связанные с Гинзбургом и о нем напоминающие. Первый год нашего издания закончился, совпав по времени с добрым известием: Гинзбург — на свободе. Поздравляем с этим радостным событием читателей и авторов нашего журнала.

Современные проблемы

Игорь Померанцев

ОКО И СЛЕЗА

Это похоже на заезженный анекдот, который ты уже десятки раз слышал, или на захватывающий бездарный фильм, на котором ты умирал от восторга в детстве, но это правда: когда кагэбисты на рассвете приходят с ордером на арест, то на сонный вопрос твоей матери, твоего мужа, твоей жены или, наконец, тебя самого — «Кто там?», они очень часто отвечают: «Телеграмма!» Ты бормочешь, стараясь все делать в полусне, чтоб потом вернуться в свою теплую постель, в свой уютный утренний сон, «Минуточку!», натягиваешь, что попадетса под руку, нашариваешь в кармане пиджака мелочь и открываешь дверь. Странно, но самое обидное не в том, что за тобой пришли, и даже не в том, что тебя разбудили в такую рань, а в том, что тебя обманули, сказали «Телеграмма!», и ты, как мальчик, поверил и теперь глупо сжимаешь в своей горячей ладони враз вспотевшую мелочь и от обиды чуть не плачешь.

А что думают в эти минуты они, эти почтальоны беды, эти почтовые ястребы страха? Должно быть, как-то заводят себя, подзуживают. Когда-то

Печатается с небольшими сокращениями. Полный текст опубликован в журнале «Сучасність», 1979, № 4.

в спортивном зале «Динамо» я, пятиклассник, пришедший болеть за своего старшего брата-борца, был потрясен подзадоривающим криком тренера: «Валька! Убей его!» «Валька» — это мой брат. «Его» — это юноша, с которым мой брат боролся. На газетном жаргоне клич тренера, педагога, наставника, которого я заочно обожал и боготворил, называется вполне пристойно: спортивная злость. Но я-то понимал все прямо, я хотел вскочить и крикнуть моему Валечке: «Не слушай, не убивай!»

Кагебисты тоже, должно быть, накачивают себя профессиональной злостью. Иначе, мне кажется, невозможно придти со злым умыслом к человеку, спящему на рассвете. Впрочем, они не любят слово «кагебист» какой-то подсознательной нелюбовью. Действительно, чего им шараться этого слова, вполне официального и служебного? И все же они предпочитают называть себя «чекистами». Это жирное от крови и соленое от слез слово почему-то кажется им героичней и романтичней. Как раз героизма и романтики им и не хватает. Какая уж тут к бесу романтика: подслушивать частные телефонные разговоры, читать доносы, частную корреспонденцию, изучать анкеты, читать по долгу службы самиздат, сидеть на своих проф и партсобраниях, писать заметки в стенгазету «Дзержинец», вербовать осведомителей, бояться начальства, слушать по вечерам «Голос Америки», играть роль умных и значительных отцов перед своими детьми и, наконец, арестовывать и вести следствие по делу людей, которые, в большинстве своем, и не скрывают, что официальная идеология им чужда.

В этих арестах чаще всего нет даже намека на сыск, на Шерлок-Холмса. А просто по праву нагана ты арестовываешь человека, непохожего на тебя, к тому же не скрывающего этой своей несхожести. Служба. Казенная. Однообразная. С каким-то неприятным душком. Потому и сачкуют они, увиливают, как и все прочие советские служащие.

В сентябре 1976 года шесть дней кряду меня допрашивали майор и подполковник. Когда подполковник выходил из кабинета, майор терял ко мне всякий интерес, извлекал откуда-то книгу шахматных задач и решал их, грызя кончик карандаша. Это была не хитроумная игра с арестованным, не тонкий психологический ход. Майор сачковал. Майор отбывал свой рабочий день, как миллионы других служащих, его соотечественников. И всё же в течение шести дней меня ни на минуту не покидало чувство, что мои толковые собеседники, холеные мужчины среднего возраста, не лишённые чувства юмора, в меру осведомлённые, в меру воспитанные, — смертельно опасны для меня, для людей, которых я люблю, для людей, которых я знаю и не знаю, вообще для всех людей. Это было не паническое, импульсивное чувство, нет, я просто видел, что мужчины, сидящие передо мной, лишены личностной этики. лишены понимания добра и зла. Для них не существовало поступка, который нельзя совершить. Они то ли знать не желали, то ли ведать не ведали про совесть, про честь, про то, что поступки могут быть бессовестными, бесчестными, и что каждый поступок человека непременно сопрягается, соотносится с совестью и честью. Они. эти

мужчины, руководствовались какой-то придуманной профессиональной этикой, которая почему-то давала им право делать низости и подлости: читать чужие письма, подслушивать чужие разговоры, записывать на магнитную ленту чьи-то поцелуи и объятия, чтобы потом шантажировать этими поцелуями, определять, какую книгу читать их соотечественникам, а какую нет. Мое сердце сжималось, когда я представлял себе близких мне людей, насильно приведенных к этим самым мужчинам, способным выполнить любой приказ, любую инструкцию. Было в них что-то безумное, несмотря на прицельность и логичность их вопросов, заурядность их лиц и одежд, несмотря на их типичность, нормальность, жизненность.

Как-то после Московского кинофестиваля среди прочих фильмов в Киев привезли австрийскую ленту «Обреченные». В начале этого фильма совершается убийство. Преступники бросают труп в мелководный, обросший камышами и затянутый тиной пруд. Зритель готовится вместе с полицейскими вести следствие, зритель предвкушает замысловатый, смертельно опасный поиск преступников, разумеется, со счастливой развязкой. Однако фильм идет, но ничего подобного не происходит. Постепенно становится понятно: труп, над которым грациозно колышутся водяные лилии и кувшинки, — метафора, попытка подсказать зрителю, что не так уж все спокойно в милой и благополучной Австрии.

Невозможно счастливо жить, когда тысячи твоих соотечественников за политические и религиозные убеждения силой удерживаются в лаге-

рях и психиатрических больницах. Эти тысячи — не метафора, не художественная гипербола, не уловка режиссера, но каждодневная реальность твоей Родины. У каждого из этих людей есть имя, есть биография, есть судьба.

В городе Киеве, по улице Уманской, в доме, где живет Леонида Светличная, на первом этаже на металлической табличке, прибитой к стене, среди прочих жильцов значится Иван Светличный. Он уже семь лет в заключении, но ЖЭК блюдет формальности: Иван Светличный остается владельцем лицевого счета. Табличка эта режет глаза. Должно быть, Леонида Павловна по несколько раз на день проходит мимо этой таблички. За семь лет у нее было с мужем семь свиданий. В общей сложности, пока длился срок пребывания в лагере, они виделись семь суток. Сейчас Светличный в ссылке на Алтае. Я видел его письмо, присланное уже из ссылки. Он обращается к жене «Моя старёнька». Леониде Павловне нет еще и пятидесяти. Друзья называют ее Леля. В этом «моя старёнька» не смешливый юмор, не добродушное лукавство, но горечь насильственной разлуки, горечь долгих лет, прожитых по злой воле врозь. В том же письме он перечисляет книги, которые хотел бы получить бандеролью или посылкой. Трехтомник Ф.С. Фицджеральда, «Проблемы литературы и эстетики» М. Бахтина, «Поэтика ранневизантийской литературы» С. Аверинцева, недавно переизданные работы лингвиста Потемни. Все эти книги я сам пытался достать в книжных магазинах. Но я-то жил не в лагере, меня никто не пытался на семь лет вычеркнуть из календаря...

Я видел фотографию, на которой сняты два литературных критика : Иван Светличный и Евгений Сверстюк. Я не знаком с женой Сверстюка. О нем мне рассказывали другие люди. Но даже в этом отраженном свете было невозможно не почувствовать обаяния Сверстюка. Сестра Ивана Светличного, Надия, вспоминала, какой это был праздник, когда во время суда над ней, после долгих и тяжких месяцев следствия, неожиданно в зал ввели свидетеля : Евгена Сверстюка. Он шел в сопровождении конвоя. Его прекрасное лицо светилось, от него глаз нельзя было оторвать. Как достойно, по-человечески, отвечал он на вопросы безликих судебных чиновников. Как обаятельно и мягко улыбался Надии. На фотографии он тоже улыбается. Снимок сделан осенью. Иван в берете, Евгений в плаще. Такие серые китайские плащи были в моде в середине шестидесятых. Я тоже долго носил такой плащ. У Николая Заболоцкого есть стихи, посвященные друзьям :

*В широких шляпах, длинных пиджаках,
с тетрадами своих стихотворений.*

Я думаю, что эти нежные, печальные стихи посвящены ленинградским поэтам, исчезнувшим в конце тридцатых. По « Хронике текущих событий » я знаю, что мягкого и интеллигентного Евгена (его никто не называл по фамилии, только по имени), должно быть раздражающего лагерную администрацию как раз сочетанием бесконечной терпимости и бескомпромиссности, то и дело бросают в штрафной изолятор. К сожалению, в русской грамматике нет времени « continuum ». Я пытаюсь все время хоть как-то сказать, что на

аресте и суде злодеяние не кончается. Что потом следуют долгие, мучительные, по 365 дней и ночей в каждом, годы.

Где-то в Херсонской области, в лагере общего режима, отбывает свой трехлетний срок композитор и музыкант Вадим Смогитель. Свои произведения он подписывал псевдонимом Змогитель Верил, что «зможе», верил, что его музыку еще услышат на Украине и не только на Украине. Из консерватории его исключили, обвинив в украинском национализме. Потом долгие годы по той же причине его не исполняли ни на радио, ни на телевидении, ни в концертных залах. Стоило ему написать две-три песни о партии или вожде, и запрет на его произведения был бы снят. Казалось бы, что за мелочи, ну двумя-тремя плохими песнями больше или меньше, что с того? А вот, оказывается, не мелочи. Бесчестью Вадим предпечел работу учителя пения в школе. Все мы занимались в школе. Разве что учитель рисования вызывает у меня не меньшее сочувствие, чем учитель пения.

В 1977 году Вадима Смогителя вызвали в КГБ и сказали, что одна враждебная радиостанция заявила, что киевский композитор В. СМОГИТЕЛЬ желает эмигрировать на Запад. Вадима спросили, действительно ли он намерен покинуть СССР. Теперь понятно, что это была провокация. Тогда Вадим подумал-подумал и ответил: да, правда, я хочу эмигрировать. Ему посоветовали предпринять что-либо конкретное в этом направлении: для начала заказать вызов в стране, куда он намерен выехать. Вадим отправился в Москву,

в одно западное посольство. По случайности его не задержали постовые милиционеры на входе. Он потом рассказывал, что все время ждал окрика, даже отворяя посольскую дверь. Повезло! В посольстве наотрез отказались содействовать Смогителю в получении вызова. Он пытался объяснить, что его могут арестовать прямо за дверью, едва ли не на глазах дипломатов.

— А что если я останусь в стенах вашего здания?

— Тогда мы вызовем милицию...

Смогитель вернулся в Киев. Ему удалось без дипломатической помощи заказать вызов в Канаде. На следующий день после телефонного разговора с Канадой — речь снова шла о вызове — Смогителя арестовали и обвинили в том, что он избил, на глазах нескольких свидетелей, прямо в центре Киева, некоего рабочего. Много позже, уже после суда, городская газета «Прапор комунизму» в фельетоне, среди трех или четырех других хулиганов и алкоголиков, упомянула Вадима Смогителя, коротко описав его выдуманное от начала до конца преступление: от нечего делать слонялся по городу, столкнулся с каким-то рабочим, тот упал, Смогитель принялся бить упавшего ногами, вмешались бдительные и смелые прохожие, тут же подоспела милицейская машина. Вот и всё. Я вспоминаю дело еврейского активиста Александра Фельдмана. О своем «преступлении» Фельдман узнал уже в милиции: оказывается, в вечер ареста он избил девушку с бисквитным тортом, даже ногу ей сломал. А девушка была такая милая и невинная, безупречная служащая детского сада. Днем с огнем ее потом не могли найти дру-

зья Фельдмана ни в одном детском саду Киева... Смогителя, как и пять лет до него Фельдмана, обвинили в злостном хулиганстве, сопровождавшемся особой жестокостью и цинизмом.

О том, что Смогитель под следствием, я узнал спустя месяц после его ареста. Ко мне пришел его товарищ, украинский филолог Ц. и предложил выйти на лестничную клетку : он боялся, что моя комната прослушивается и КГБ опознает его голос. Мы вышли. Ц. трясло. Мне стало неловко. Я сказал : « Что-то сегодня холодно ». Ц. дрожащим голосом начал : « Ты помнишь Вадима ? » Потом рассказал про арест. Уже заканчивая, Ц. спросил : « Скажи, кто-нибудь из украинцев еще остался ? » Никогда прежде я так остро не ощущал этого ужаса быть украинцем.

Я хочу вернуться к тем людям, о которых упомянул скороговоркой : к той самой несчастной детсадовской служащей и случайно попавшему под тяжелую руку Смогителя рабочему. Даже не столько к ним самим, сколько к той роли, которую им поручили сыграть. Я не сомневаюсь, что эти люди — внештатные сотрудники КГБ. Я не знаю, чем с ними расплачивались : деньгами, новой квартирой или туристической путевкой в Германскую Демократическую Республику, но все равно они люди, и как-то кагебисты должны были им объяснить, что и почему. Сфабрикованные дела свидетельствуют о слабости, а не о могуществе Охранки. Значит, все же ей не наплевать на мировое общественное мнение, значит, как-то она считается с западной прессой и радиостанциями. Не знаю, что было конкретно сказано внештатникам в связи с делами Фельдмана и Смогителя, но ясно,

что этих людей научили лгать, научили давать на суде, вопреки закону, ложные показания. У КГБ — несколько соттысячная, если не миллионная агентура. Помимо прямых преступлений против инакомыслящих, КГБ совершает каждый день еще одно тяжкое, но не слишком бросающееся в глаза преступление : на тайных явочных квартирах, в комнатах Особых отделов при Университетах и институтах, в тенистых скверах и парках, в помещениях Отделов кадров всяческих учреждений ежедневно сотрудники госбезопасности учат своих питомцев следить за коллегами, друзьями, близкими, подслушивать чужие разговоры, писать доносы, то есть попросту подличать. Это и есть развращение, растление людей, и процесс этого растления не менее страшен, чем политические суды. Мне рассказывал один бывший сотрудник дипломатического корпуса, что в Африке и Азии тем аборигенам, которые дают компрометирующую информацию в посольство СССР о советских специалистах и дипломатах, выплачивают деньги. Многие аборигены уже знают об этом и даже пытаются подстеречь советских возле какого-нибудь ночного клуба, местного борделя или курильни. Жертву начинают шантажировать. Как правило, насмерть перепуганные советские люди отдают шантажистом всё, что у них только есть. Так что КГБ развращает и растлевает не только своих соотечественников...

Репрессии на Украине всегда были прежде всего ударом по культуре и литературе, без которых немислимо становление и развитие национального самосознания, а вместе с ним общественного мнения и его выразителей. Казалось бы, деятели,

которые еще не разучились мыслить категориями национальными — а таких деятелей остается все меньше и меньше, они — одиночки на фоне вымороченного, вырожденного искусства, литературы, науки, — могли бы хоть как-то смягчить ожесточенную внутреннюю политику режима. Однако, современный Советский Союз — это мир смещенных критериев нравственности, порядочности. Как-то мне сказали: «Академик Б. Патон — порядочный человек, потому что он не антисемит». То, что должно быть нормой, возведено в ранг чуть ли не гражданского подвига.

Я долго жил в Киеве рядом с Министерством иностранных дел УССР. Оно находится в переулке Чекистов, рядом с городским КГБ. В этот самый МИД все время приходили какие-то строительные и рабочие бригады: плотники, маляры, дорожники, электрики. Возле входа вечно крутились наряды милиции. Все эти служивые перешучивались, перекрикивались, перемигивались. Там вечно шла какая-то горячая работа, за высокой стеной то появлялись, то исчезали строительные леса, в распахнутых на мгновение дверях, пока сквознячок обдавал меня запахами краски, олифы, канифоли, цемента, краем глаза я успевал заметить какие-то стремянки, бидоны, верстаки. Так своей кипучей жизнью живет эта потемкинская деревня. Интересно, кто-нибудь в ООН воспринимает всерьез делегацию УССР?

Один процветающий шестидесятилетний киевский писатель как-то сказал мне: «Еще не настало время сказать правду. Но я еще скажу, мой час придет!» Этого писателя уже нет в живых. Вместе с ним умерли его лживые книги и его

благородные замыслы. Есть что-то жалкое и одновременно трагичное в этой смерти. Еще трагичнее складывается судьба людей действительно талантливых, но лишенных отваги, чувства долга, совести. Казалось бы, судьба так блистательно начинавшего П. Тычины могла бы стать уроком, притчей из быта, предостережением. Впрочем, для некоторых литераторов она и впрямь стала уроком. Я имею в виду не только В. Стуса и И. Калынца, но и десяток других, почти неизвестных поэтов, которым ныне уже далеко за тридцать. Поэты эти — рыцари поэзии, они верны своим эстетическим принципам и вкусам, они понимают, что коррозия личности ведет к коррозии профессиональной, особенно в таком тонком деле как поэзия. Вот почему эстетическим и этическим компромиссам они предпочитают писать в стол. Кто сегодня, сейчас, талантлив и честен, тот работает и на будущее.

Как ярко, горячо входил в литературу Иван Драч! Сколько было тогда надежд у него самого, у его сверстников, у этого поколения оттепели. Он успел написать несколько замечательных стихотворений и создать вместе с Л. Осыкой киношедевр «Каменный крест». Потом оттепель кончилась. В конце 60-ых было криминалом позвонить Драчу домой: КГБ прослушивал его телефон. Ныне Драч создает какие-то литературные монументы. Он получил Премию, но потерял читателей. Я позволю себе коснуться очень деликатной темы — темы верности. Когда-то Иван Светличный и Иван Драч были друзьями и соподвижниками. Уже долгие годы Светличный в заключении. Ладно, ты, оставшийся по эту сторо-

ну проволоки, испугался — это можно понять ты не пишешь своим друзьям писем в лагерь, не посылаешь им посылки, но зачем же, зачем ты славословишь палачей, да к тому же не абстрактных палачей, а живущих рядом с тобой в одном городе! О, как просто быть гуманистом в стихах о далекой войне, и как нелегко достойно жить в наше мирное безоблачное время. Накануне моего отъезда я случайно увидел Драча в подземном переходе. В искусственном освещении перехода он куда-то нес свое лицо, похожее на восковую маску, на посмертный слепок, и теперь мне кажется, что мы встретились не под шумным Крещатиком, а где-то в отсыревшем, промозглом склепе или в страшном сне про ночь, проведенную на кладбище среди разрытых могил.

Дорогая, закладка, которую ты вышила украинским узором, когда тебя бросили в лагерный карцер, и которую ты после подарила мне, — в моей записной книжке. Я хочу, чтобы имя твое переплелось украинским узором с моими строчками. Я хочу, чтобы все мои слова откликнулись на твое имя.

Я стоял в «Кулинарии» на Крещатике в очереди за чашкой кофе. Черный, весь в кудряшках, кофе струей лился из медного бачка. Внезапно, поверх моей головы кто-то хрипло обратился к продавщице: «Мама, почему какао?» Потрепанный, небритый мужчина моего возраста вопросительно смотрел на продавщицу.

Было время, когда мой одноклассник, щуплый, в синих с начесом, поношенных шароварах мальчик по фамилии Прокофьев, пахнувший запахом

своей квартиры, запахом бедности, не мог оторвать взгляда от гастрономической витрины, где красовались коробочки какао «Золотой ярлык» и «Наша марка». Его сосед по парте Андрюшка на большой перемене извлекал из шуршащей глянцевого бумаги бутерброд с шоколадным творогом. Каждое утро Андрюшкина мать смешивала творог с какао и сахарной пудрой и готовила сыну бутерброд. Но это еще можно было пережить. После уроков мальчишки допоздна играли в футбол. И когда Андрюшка возвращался, пошатываясь от усталости и голода, домой, отец бил его ремнем. А Прокофьева не били, его задержек даже не замечали. Вот чего пережить было никак нельзя. Однажды Прокофьев сбежал из дому. Мне позвонила наша учительница и спросила, где может прятаться Прокофьев. Почему-то тогда ходили слухи, что маленькие беглецы ночуют в танке. Танк стоял неподалеку от вокзала, на постаменте. Молодой танкист, погибший в конце войны где-то в далекой Германии, первым ворвался на нем в наш город, уже покинутый немцами. Я представляю, как лязгающей волной катился танк по узким безлюдным улицам города, ожидая нападения из-за каждого угла, из каждой подворотни, но никто не нападал, и от этого танк просто заходил в собственном реве. Чушь собачья, никто в этом танке, конечно, не прятался и не ночевал. В каком-то сумрачном проходном дворе я столкнулся нос к носу с Прокофьевым и вместо того, чтобы поговорить с ним, привести к себе домой и накормить, стал гоняться за ним по лестничным маршам и ухающим под ногами тесным деревянным балконам, опоясывавшим двор по периметру. Я

пытался поймать Прокофьева, испытывая при этом чувство гордости за свои решительные и благородные действия, чуть ли не с восторгом исполняя свой моральный долг. Бог ты мой, каким, наверное, глухим, черствым я был в отрочестве ! Конечно же, Прокофьев удрал, мелькнув напоследок своими сдутыми шароварами. И конечно же, это не он хрипло спросил продавщицу : « Мама, почем какао ? »

Однажды на кухне у Марка, в дни то ли очередного Гигантского Мора, то ли Большой Чумы, то ли Малой Февральской Холеры, отбывший шесть лет лагерей строгого режима Дима Михеев спросил у нескольких поклонников Чосера и Боккаччо, собравшихся на пир по случаю Конца Света : « Кто помнит себя в день оккупации Чехословакии ? » Оказалось, что все помнят и этот день и свою жизнь в этот день.

Мы рассказывали по кругу каждый о своем 21-ом августа. Оказалось, что Владимир Малинкович, тридцатисемилетний врач, кандидат медицинских наук, служил в 1968 году под Киевом в армии, военврачом. Его мобилизовали на два года после окончания института. Когда часть, где он служил, подняли по тревоге и отправили в Чехословакию, Володя отказался подчиниться приказу. Его арестовали. Дело вел Особый отдел КГБ. Начальство испугалось огласки и замяло дело. Все кончилось офицерским судом чести и досрочной демобилизацией.

Весь мир знает про демонстрацию на Красной площади в августе 1968 года. О каждом из горстки демонстрантов много говорено и рассказано.

О них написана пьеса. О них знали мы, их соотечественники, уже в день их подвига, и многие из нас понимали и чувствовали: на Красную площадь вышла наша робкая, наша стыдливая до той поры совесть. И если б эта совесть не вышла, всем нам и тогда и потом жилось бы намного хуже, сумрачней, угрюмей. Я думаю, что и сами демонстранты понимали, как необходим их протест, и не только им самим, но и всем нам, безмолвным, трусливым, слабым. Я нисколько не хочу умалить ни роли, ни значения этой акции, но подвиг Владимира Малинковича кажется мне значительней. Он был один. Его никто бы не осудил, если бы он поехал со своей частью, сказав себе: « Там, в Чехословакии, я попробую помочь чехам... » Ни в день неповиновения, ни пока Малинкович был под следствием, ни годы спустя о его поступке почти никто так и не узнал. Ему не помогала мысль, что его протест поддержит дух соотечественников, останется примером и символом гражданского мужества в духовной истории нации. И все-таки даже наедине с самим собой Малинкович не поступился ни совестью, ни честью. Должно быть, это и есть быть свободным.

Я хорошо представляю, как все происходило. Володя — красивый, легкий, интеллигентный, улыбчивый, Володя — умница. Наверное, и в армии его любили, тем более, что он врач, а значит, в любую минуту может каждому понадобиться: не только полковнику, но и полковничьей жене, и полковничьему сыну. И вот этот всеобщий любимец, которому и отслужить-то нужно каких-нибудь два года, подходит к озабоченному спешными сборами замполиту, с которым он, конечно

же, на ты — почти друзья ведь — и, виновато улыбаясь, как-то очень стеснительно, мягко, не по-военному говорит, почти бормочет : « Ты знаешь, я не поеду в Чехословакию ». Я представляю шок замполита, его попытку отмахнуться : « Брось шутить, Вовик ! », потом ярость, вызов караула, приказ арестовать. Я представляю все, кроме себя в такой ситуации. Я цепляюсь за мысль : Володе было тогда двадцать семь, а мне двадцать, но эта мысль не спасает меня. Сейчас я кусаю себе локти : отчего так мало виделись, так редко говорили, пока жили вместе в одном городе ? Как же я мог не подружить с Володей. Он был один из немногих, кого я мог спросить, не опасаясь нарваться на невнятные извинения : « Ты подпишешь письмо в защиту... ? » Я хочу верить, что и он, спрашивая меня : « Ты подпишешь письмо в защиту... ? », тоже не сомневался в моем ответе.

На третий день моего пребывания на Западе я написал из Вены письмо своему другу.

Дорогой Марк !

Ты знал, как и чем мы жили до отлета, ты проводил нас в Борисполь и остался за порогом таможни. Я хочу рассказать тебе, что было с нами дальше. В таможне нас долго обыскивали, и меня, и Лину раздели догола. Все наши громоздкие чемоданы и мешки я перетаскивал сам, потому что у Лины на руках был Петька. К концу досмотра я весь взмок, рубаха была в пятнах пота. Мне хотелось пить. На втором этаже уже в пустом зале ожидания мы увидели два автомата газводы, но в карманах у меня не было ни единой советской копейки. Если тебе придется эмигрировать,

захвати на воду одну копейку : за нее не казнят. Потом ты видел мою высунувшуюся из окна портового автобуса руку, машущую тебе и всем остальным, но уже не видел, что я заплакал. Мы нашли себе места в хвосте самолета. Перед нами сидели два тихо улыбающихся японца. Когда самолет взлетел, стюардессы начали развозить завтрак. С нами тоже обращались, как с иностранцами. Даже вино подали. Но через полчаса самолет стал дрожать как осиновый лист : мы попали в грозу. Вода хлестала щеки. Повалил снег. Объявили по-английски : « Господа ! В связи с плохими метеоусловиями наш самолет вынужден приземлиться в Минском аэропорту. Экипаж приносит Вам свои извинения ! » Где-то спереди загорелось : « fasten helts ». « Застегни ремень », — сказал я Лине, чтоб не молчать. « Я почему-то волнуюсь », — сказала Лина. Петр уснул у нее на коленях. Град по-прежнему сыпал со всех сторон, сверху и снизу. Одним локтем я прикрывал голову и лицо, другим — лицо сына. Колеса стукнулись о бетонированную дорожку минского аэродрома, потом хрустнули сломанные шасси, и самолет на пузе прополз со скрежетом еще метров сто, снося какие-то мелкие служебные строения и сметая легкие фигурки с шахматными флажками в руках. В здании аэропорта нам предложили пройти в « комнату матери и ребенка ». Лине почему-то не хотелось, она плакала, я толкнул ее локтем, получилось грубо, и она заплакала еще сильнее. Мы расставались с другими пассажирами. Я чувствовал спиной тихие улыбки японцев. « Главное не волноваться, — успокаивал я себя, — еще все образуется. И не такое пережи-

ли. В конце концов у меня в кармане не краснокожие паспорта, а иностранные визы. Мы иностранцы — и баста!» В комнате, куда нас ввели, спиной к двери у окна стоял какой-то мужчина в штатском. Я почему-то брякнул: «Good dav!» Он, даже не взглянув на нас, сел к столу и стал куда-то звонить. Звонил долго. Говорил по-русски, так что я ничего не мог понять, кроме «Вилен Павлович», «Валерий Николаевич» и «Бобруйск». Потом он вышел. Мы долго ждали. В голове было совершенно пусто. За нами пришли к вечеру. Молча предложили выйти. Мы шли — я в непросохшей рубаше, моя жена с зареванным лицом, со спящим на руках сыном. Я думал: хорошо хоть багаж не надо тащить. Значит, повезут в Бобруйск. Они уже там. Вилен пока что смылся с какой-нибудь бабой. А Валерий решает шахматные задачи. Мат в три (четыре) хода. Черные (белые) начинают и выигрывают. Он постукивает кончиком карандаша по нижним, желтым от никотина зубам, щурится, нашу машину трясет на ухабах, мы сбились в кузове в одно влажное солоноватое месиво. В Бобруйск мы приехали ночью.

В Бобруйске нас расстреляли.

Игорь

Жил-был мальчик, прилежный, усидчивый очкарик, круглый отличник. На уроках физкультуры всегда замыкал шеренгу. Почти каждый учитель считал его своим лучшим учеником. Звали его Гриша Токаюк. Называли его все Гришенька. Школу он окончил с золотой медалью. Поступил в Киевский государственный институт

иностранных языков, на отделение французского языка. Язык этот он любил и знал с детства благодаря бабушке. Будучи человеком тактичным, студент Г. Токаюк на занятиях редко поправлял своих преподавателей. По дороге в институт и из института, пока ехал в трамвае, выучил испанский, английский, итальянский, чешский, шведский. Институт тоже окончил с отличием. Так он жил, не оглядываясь по сторонам, не отрывая взгляда от учебников, серьезный, целомудренный, маленький как карманный словарь. Мой искусственный соотечественник, читая эти строки, возможно, ухмыльнется: как же так, а членство в комсомоле, а сдача экзаменов по истории КПСС, а, наконец, практика, а затем, хоть и недолгая, но все же работа в «Интуристе»? И это целомудрие? Я утверждаю, что не ошибся в выборе слова. И дело даже не в том, что показательный старшеклассник Гриша Токаюк почему-то вступил в ряды ВЛКСМ только в выпускном классе, и не в том, что из-за знания нескольких иностранных языков переводчику Токаюку не было прощано в «Интуристе» и потому ему часто прощались обязательные отчеты для КГБ, а в том, что целомудрие — черта глубоко внутренняя, едва ли не врожденная. Летом 1972 года в составе группы филологов Г. Токаюка направили в Париж для совершенствования знаний по языку. То-то радовался Григорий Александрович: наконец-то услышит, окунется в живую языковую стихию, увидит вживе то, о чем лишь слышал или видел на репродукциях и открытках! Группу разместили в гостинице «Виктория». В один из вечеров ополоумевший от счастья Токаюк поехал в гости

к своему французскому приятелю господину Галлорини, знакомому еще по работе в киевском «Интуристе». Вернулся поздним вечером, в начале двенадцатого. В вестибюле гостиницы Токаюка уже ждали четверо «коллег-филологов». Один из них грубо схватил Токаюка за плечо и горячечно зашипел: «Ах ты, сука, мало того, что один ушел, так еще и опаздываешь! Мы тебе покажем, как шляться по Парижам!»

Я останавливаю внимание читателя на этом мгновении из жизни Григория Токаюка. До сих пор ему удавалось жить, не углубляясь в, так сказать, экзистенциальный смысл жизни. Конечно, были у него свои семейные обиды, свой комплекс коротышки, своя война с каким-то школьным учителем, но все это шло как-то стороной, а главная жизнь вполне уместилась под переплетами учебников, книг, и ей там не было тесно. Как должен был отреагировать нормальный советский человек на, мягко говоря, упрек гебиста? Конечно же, испугаться, содрогнуться, попытаться тут же загладить свое преступление словами, тоном, взглядом, бутылкой «Наполеона»... Однако месье Токаюк почему-то поступил иначе. Он холодно стряхнул чужую руку со своего плеча и не менее холодно сказал: «Уймите свой пыл. Я — на территории свободной Франции!» Я почему-то всегда болею за слабых. Должно быть, поэтому мне жаль того несчастного гебиста. Однако ночью месье Токаюк должен же был прийти в себя, обрести, наконец, чувство реальности и вылезти из своей пресловутой башенки. Неужели же он и ночью не понял, что произошло с ним в вестибюле гостиницы «Виктория» (rue Tournefort)

может изменить всю его дальнейшую жизнь, что больше он не только за границы не увидит как своих ушей, но и распростится с педагогическим поприщем, а в худшем случае не только с ним? А может, скажет мой искушенный читатель-соотечественник, этот ваш Токаюк просто глуп? « Да не глупей тебя, дрянь ты эдакая, — отвечу я за Гришу. — Тебе бы хоть каплю Гришиного достоинства... »

На следующий день всю группу филологов привели в самый центр Парижа, на площадь близ Пантеона. Там-то и состоялось собрание, на котором клеймили Токаюка. В помещении гостиницы собрания не устроили, потому что боялись прослушивания. Токаюк на этих сборах отмалчивался, лишь один раз не выдержал и выкрикнул одному из обвинителей: « Ах ты кагебистское дерьмо ! » Как человек интеллигентный, он выкрикнул эту фразу по-французски.

Если бы не эта злосчастная история, я не знаю, как бы сложилась дальнейшая жизнь Токаюка. Впрочем, строить догадки, основываясь на сослагательном наклонении, — дело пустое. Я склонен скорее думать, что эта история не могла не случиться с Токаюком.

В начале февраля 1978 года Григорий Токаюк вместе с Петром Винсом приехали в Москву и там, на квартире Ирины Гинзбург, Токаюк выступил с открытыми обвинениями против Киевского КГБ. Начал он выступать по-русски. Однако корреспонденты занимались чем-то своим: перешептывались, лениво перешучивались, подмигивали друг другу. Гриша заговорил по-французски. Лишь тогда журналисты заскрипели перьями...

Жаль, что Токаюк поскромничал и не провел пресс-конференцию хотя бы на трех языках.

Есть в русском языке такое слово: «подписант». Появилось оно недавно, если не ошибаюсь, в середине шестидесятых годов, после дела Синявского и Даниэля. Подписантами называют людей, которые подписывают письма в защиту политзаключенных. Сперва подписантов было сравнительно много. В расцвет либерализации число подписантов в Киеве исчислялось даже не десятками. В июле 1978 года в Киеве оставалось двенадцать подписантов. Письмо в защиту Александра Гинзбурга, к тому времени находящегося под следствием уже год, я подписывал зимой 1978 года в подъезде, на радиаторе, стараясь не обронить с шапки на бумагу капле талого снега. Под дверью подъезда сновали соглядатаи. Был риск, что письмо изымут, но что было делать? Я не знаю, может кому-то из великих правозащитников эти подписи давались легко. Не знаю, может, я трус, но всякий раз вступаясь за кого-то, я не мог не думать, что делаю шаг к собственному аресту, не мог не глотать почему-то вдруг загустевшую слюну. Письма можно было не подписывать, по меньшей мере, по двум причинам: во-первых, ты не намерен эмигрировать и потому не можешь рисковать, во-вторых, ты намерен эмигрировать, и потому снова-таки не можешь рисковать. Многие считали естественным, что письма подписывают бывшие политзаключенные. А между тем, ведь им-то делать это было опаснее, чем всем прочим: это приближало их ко второму, а то и к третьему аресту, и срок им полагался уже как рецидивистам. Один молодой человек так

объяснил свой отказ поставить подпись : « Ребята, это ведь не конструктивное предложение... » Я смею надеяться, что все же эти подписи что-то да дают и конструктивного. Кто знает, не было бы их, может, и сажали бы больше, и судов бы не устраивали — расстреливали по камерам, а трупы сваливали в вырытую самими же арестантами братскую могилу. И потом, ведь это от имени народа, то есть от имени каждого из нас, судят и сажают, судят и сажают, и, ставя свою подпись под письмом протеста, ты отказываешься участвовать в коллективном преступлении. Но даже если бы не было в подписантстве этого, скажем, конструктивного смысла, то и тогда бы оставалось нечто такое, из-за чего стоило бы вложить всего себя в несколько букв, обозначающих твою фамилию, это нечто — твоя совесть.

К 1978 году, после шести лет постоянных преследований, угроз, запугиваний, увольнений с работы, Григорий Токаюк вместо того, чтобы куда-нибудь спрятаться, забиться в щель, испариться, научился не только защищать себя, но и вступаться за других, и когда над кем-либо нависала угроза ареста, то обращались к Токаюку, и когда нужна была подпись в защиту безвинно осужденного, Токаюк ставил ее первым...

У меня есть стихотворение, посвященное Григорию Токаюку.

*За полночь ты выйдешь из подъезда и сразу
увидишь
три сгустка ночи, в каждом из которых
в тусклых лучах зеленоватой подсветки
молчат трое мужчин, не считая водителя.*

Ты оттолкнешься ногами от асфальтового дна
города,
и черные сгустки, эти субмарины ночи, плавно
поплывут за тобой,
не включая фар. Твое сердце медленно оторвется
от тела
и заскользит в противоположную от него сторону,
прикидываясь морским ежом или жемчужницей,
и чем зловещей будет этот ночной заплыв,
тем прекрасней будут воспоминания, но все равно
не застегивай пальто, переночуй у нас хотя бы
еще одну ночь.

Уже здесь, на Западе, один немец спросил меня: «Что вы посоветуете прочесть правдивого о Советском Союзе?» Я ответил: «Архипелаг Гулаг». Мой собеседник возразил: «Нет, я хотел бы прочесть что-нибудь объективное, а Солженицын тенденциозен». Мне кажется, такая точка зрения если не типична, то, по крайней мере, характерна. Многие считают, что истина где-то посерединке между официальными советскими декларациями и «Архипелагом Гулаг». Не все же, в конце концов, плохо в СССР.

Я пытаюсь взглянуть на германский фашизм не с точки зрения истории, а глазами тех, кто жил в те времена. Это сейчас, думая о массовых убийствах, о геноциде, о концлагерях, то есть действительно о главном, что принес фашизм, уже почти не различить маленьких людей, которые не только жили в страхе, но и порой с удовольствием ели и пили, ходили в рестораны, испытывали радостное чувство единения с другими своими соотечественниками, танцевали модные танцы,

болели за своих любимых спортсменов, ночами предавались страсти. Должно быть, и тогда кто-то восклицал: « Не все же в конце концов плохо в Германии ! »

Да, человеческая жизнь и впрямь не одноцветна, но история рано или поздно все ставит на свои места. « Архипелаг Гулаг », несмотря, а может, и благодаря своей страсти, своему нравственному максимализму, своей предельной злободневности, — произведение, написанное с точки зрения истории. Это предельно правдивая книга и, как это ни трагично, самая главная книга о моих соотечественниках и для моих соотечественников.

Мне бы хотелось как-то выделить, подчеркнуть длительность происходящей на моей Родине трагедии. За фактом ареста или процесса стоят годы страданий — не только самих заключенных, но их близких, друзей, просто тех, кто хотел бы им помочь, но не в силах этого сделать. Умерла, так и не дождавшись освобождения своего сына, мать психиатра Семена Глузмана. Умерла мать находящегося в ссылке после отбытия долгого срока в лагере историка Габриэля Суперфина. Об этом не было сообщений в прессе, об этом молчало радио...

Нам говорят : дискуссия о правах человека не должна превращаться в идеологический крестовый поход, во вмешательство во внутренние дела другой страны. Но о какой же дискуссии, о дискуссии с кем идет речь ? Слово дискуссия уместно по отношению к обсуждаемым спорным проблемам. Дискуссия о страданиях мордовских или уральских лагерников — святотатство, дискуссия с их мучителями — цинизм. К несчастью, подоб-

ные призывы к «сдержанности, рассудительности» — не только высказываемая устно или печатно точка зрения. Уже находясь на Западе, я написал обращение для западногерманской прессы в защиту моего друга, члена Украинской группы содействия выполнению Хельсинских соглашений, политзаключенного Петра Винса, против которого уже в лагере фабриковалось новое дело. Мое обращение перевел на немецкий язык совсем не знакомый мне учитель гимназии того городка, где я остановился. Во Франкфурт со мной поехала преподавательница той же гимназии. Во Франкфурте мы пришли в «Общество прав человека». Там меня выслушали с искренним участием. Прямо при мне позвонили в одну из центральных газет, предложили материал. Журналист на противоположном конце провода сказал: «Эта тема в всех уже навязла на зубах. Русский хочет гонорар?» Говорившая с газетой девушка постеснялась перевести мне ответ корреспондента. Всё же мы пробили в печать сообщение о готовящейся расправе над Петром Винсом, и, быть может, это хоть как-то способствовало тому, что новый процесс над Винсом был приостановлен. Я, конечно же, не намерен навязывать кому-либо свое понимание журналистской этики или вообще задач и назначения журналистики. Но когда речь идет о жизни и смерти человека, я думаю, что даже газетный жанр может отступить от своих канонов.

Один мой бывший соотечественник, живущий на Западе уже лет семь, недавно сказал мне: «Вы, диссиденты, никому здесь не нужны. Вы нужны только до тех пор, пока вы там, в Союзе». Это неправда. Это ложь. Тот, кто был конформистом,

этом у себя на родине, остался конформистом и в эмиграции. Я уверен, что мой бывший соотечественник и в Союзе жил так, словно концлагеря Мордовии и Пермской области находятся на другой планете. Тем более, ему наплевать на эти лагеря живя здесь, на щедрой и приветливой южбине. Его фраза — не более, чем отговорка. Я повторяю: его фраза — неправда, ложь. Я встречал в ФРГ уже десятки людей с больной совестью, людей желающих, но не всегда знающих как нам помочь.

Накануне отъезда я прочел каким-то чудом вывезенные из лагеря стихи Игоря Калынца. Дорогая, их переписала твоя рука. Дорогая, я не могу назвать твоего имени — хотя даже одно звучание твоего имени для меня отрада и надежда — потому что тогда *о н и* придут и заберут у тебя эти стихи, хотя поэзия им ненавистна. Я не могу отвязаться от одной строчки, даже не строчки, — метафоры: о том, что кто-то или что-то неотделимы «як око і слеза». Дорогая, ты знаешь, я покинул всех вас не в поисках иной Родины. У меня есть Родина, и она останется со мной и во мне навсегда. И мы неотделимы с ней, как око и слеза. Но эта строчка, да нет, метафора, стекающая по моей щеке! Но эта Родина, для которой у меня столько любимых имен: Наташа, Иосиф, Петр, Гриша, Володя, Марк, Мыкола, Ты!.

Померанцев, Игорь Яковлевич — родился в 1948 году в Саратове. Окончил английское отделение Черновицкого Государственного университета. С 1972 года жил в Киеве. Работал учителем, переводчиком, патентоведом. Подборки его лирических стихотворений печатались в журнале «Смена». В 1978 году эмигрировал. Ныне живет в ФРГ

Глазами иностранца

М. Розанова

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ

Оглянем себя со стороны — глазами чужеземца, иностранца. Ведь интересно узнать о себе что-то новое. Что про тебя люди думают. Другие люди, не похожие на тебя — европейцы, американцы.. Что мы о них думаем, это мы сами знаем. Но побывав за границей, либо чувствуя заморского гостя у себя дома, в России, любопытно и полезно услышать, как они, иностранцы, о нас, о русских. отзываются, как нас воспринимают и не понимают, пытаются и не могут оценить. Пускай судят ошибочно и заведомо необъективно, но интересно же: кто мы для них? Это может пригодиться. Если не в виде урока, обучения хорошим манерам, то в порядке самопознания. Кто я такой — я сам знаю, но любопытно послушать, что вы обо мне скажете.

На эту тему существует большая литература Начиная с Олеария, с его путешествия в Московию, в Персию и обратно в 30-40-х годах XVII века, и кончая Лионом Фейхтвангером. Да что там Олеарий? Каким Фейхтвангером? — каждый день кто-нибудь ездит под видом туриста,

а потом делится с соплеменниками своими переживаниями. Мы его там икрой и водкой потчует, водим в Большой театр и на завод Лихачева, а он вернется на свой буржуазный Запад и что-то опять ни с чем несообразное про нас рассказывает. Да еще пропечатает во всех газетах и журналах. А люди верят, читают. Пожалуйста...

Адам Олеарий : « Никто из них (из русских) не упустит случая, чтобы выпить или хорошенько напиться, когда бы, где бы и при каких обстоятельствах это не было; пьют при этом чаще всего водку. Поэтому и при приходе в гости и при свиданиях первым знаком почета, который кому-либо оказывается, является то, что ему подносят одну или несколько « чарок вина », т. е. водки; при этом простой народ, рабы и крестьяне до того твердо соблюдают обычай, что если такой человек получит из рук знатного чарку и в третий, в четвертый раз и еще чаще, он продолжает выпивать их в твердой уверенности, что он не смеет отказаться, — пока не упадет на землю и — в иных случаях не испустит душу... Не только простонародье, говорю я, но и знатные вельможи, даже царские великие послы, которые должны бы были соблюдать высокую честь своего Государя в чужих странах, не знают меры, когда перед ними ставятся крепкие напитки... Подобного рода случай произошел в 1608 году с великим послом, который отправлен был к его величеству королю шведскому Карлу IX. Он так напился самой крепкой водки, — несмотря на то, что его предупреждали о ее огненной силе, — что в тот день, когда его нужно было вести к аудиенции, оказался мертвым в постели... »

Так уж сразу и « мертвым » ! Так уж сразу после пяти-десяти-двадцати чарок « испустит душу » ! Ах, Адам Олеарий, Адам Олеарий, вечно вы всё преувеличиваете !.. И нам, русским людям, не трудно поймать западного соглядатая на очередной неточности, на тенденциозном подборе фактов или просто на элементарном незнании материала. Допустим, маркиз де Кюстин, французский выкормыш, проникший в прошлом столетии в Россию, в 39-ом году, в царствование достопамятного императора Николая Павловича, реакционер и роялист, бледнеет, как кисейная барышня, при виде Московского Кремля. Он вдруг сразу начинает вести себя поганым либералом, сторонником « свободной » Европы, от которой сам же бежал, в ужасе французской революции, недорезанный аристократ, маркиз, приехавший в Россию в период, прямо скажем, относительной передышки. Правда, недавно убили Пушкина, но еще не убили Лермонтова, жил Белинский, росли « Мертвые Души » и на театре с успехом шел « Ревизор »... *) Хлопотали славянофилы, копошились западники. Нам бы сейчас такую оттепель, господин маркиз ! Но ничего этого он не замечает, столбенея, в содрогании, перед кремлевской стеной, которая тоже ничего особенного — уже или еще — за собою не скрывала.

Кюстин : « Знаете ли вы, что такое кремлевские стены ?.. **) Стены Кремля, это — горная цепь. Это цитадель, построенная на рубеже Европы и

*) А кто помнит эпиграф к « Ревизору » ?..

**) Нет, мы не знаем !. А ведь, поди, не читал еще : « Знаете ли вы украинскую ночь ?.. »

Азия, в сравнении с обыкновенными укреплениями то же, что Альпы в сравнении с нашими холмами : Кремль — Монблан крепостей. Если бы гигант, зовущийся русской империей, имел сердце, я сказал бы, что Кремль — сердце этого чудовища : он голова его... Слава в рабстве — вот аллегория, изображаемая этим сатанинским монументом... »

Ага, испугался ! И забыл с перепугу, что Кремль построен не нами, а итальянцами. Да-да, заезжими итальянскими мастерами. И что в Кремле, в его стенах и башнях, играет вольный, веселый дух итальянского Ренессанса. Маркиз, понятно, по тогдашней безграмотности, по глупой французской привычке, воспитанной на классицизмах Версаля, спутал Красную площадь с Китайской стеной, и отсюда, из этой стилистической неразберихи, родились его афоризмы, его вздорные тирады на тему Российской Империи, которая, право же, тогда никого особенно не завоевывала, разве что Кавказ или, с годами, Среднюю Азию. Ну, еще Польшу... А он вопит !

Кюстин : *« Эта нация, по существу завоевательная, жадная вследствие лишений, заранее испугана унижительным подчинением на родине надежду на тираническое господство над чужими; слава, богатство, ожидаемые ею, отвлекают ее внимание от позора, который она терпит, и чтоб смыть с себя нечестивое отречение от всякой свободы общественной и личной, коленопреклоненный раб мечтает о всемирном владычестве ».*

Коленопреклоненный раб, мечтающий о всемирном владычестве ! — разве это похоже на нас ?! ... И какое к нам, к Советскому Союзу, касательство

имеют слова другого, немецкого вояжера Шлейссингера, залетевшего в Московию в 1684-ом году ?! Его так называемое « Полное описание России » построено на диалоге, на вопросах и ответах. Речь в данном случае идет о свободе выезда из страны. о праве граждан на путешествия.

Шлейссингер : « Если бы ныне в России нашелся кто-то, имеющий охоту посетить чужие страны, то ему бы этого не позволили, а пожалуй, еще и пригрозили бы кнутом, если бы он настаивал на выезде, желая немного осмотреть мир. Есть даже примеры, что получили кнута и были сосланы в Сибирь те люди, которые настаивали на выезде и не хотели отказаться от своего намерения.

Вопрос : Занятная, видимо нация ! Но почему они так поступают ?

Ответ : Они полагают, что того человека совратили, и он стал предателем или хочет отойти от их религии... А тех, кто не принадлежит к их церкви, они и не считают истинными христианами... »

Каково нам слышать эту несправедливую критику со стороны Запада, который сам не очень давно закатывал у себя Варфоломеевские ночи ! Ну, положим, действительно, не любим почему-то выпускать за границу наших товарищей. Подозреваем в предательстве. В шпионаже. Так на дворе-то ведь семнадцатый век ! Петру Первому о ту пору едва пятнадцать годочков исполнилось, и всё еще впереди. Нельзя же мыслить — неисторически !

Но теперь, в конце XX века, когда вопрос национального самоопределения коснулся многих народов и все больше задевает и нас, русских,

возбуждая горячие споры, — почему бы и нам не поспорить с западными знатоками? И попытаться понять, отчего они наши достоинства принимают порой за наши недостатки. Например, преданность Родине — за косность нравов.

Мнения иностранцев о России раскидываются перед нами, как колода карт. Их можно тасовать и так и эдак, раскладывая пасьянсы русской истории, российской самобытности. Недавно в парижском кафе, у стойки, к нам привязался клошар, бродяга, босяк по-нашему. Он был под градусом. Узнав, что мы иностранцы, к тому же русские, он ударился в лирические воспоминания о России. Что же он знал о нас? Всего несколько слов. И, с трудом вспомнив очередное слово, ликовал и приходил в экстаз. «Водка», «самовар» — скандировал он — к общему веселью зрителей. Он запнулся, подумал и прибавил: «козак». В раздражении, желая ему помочь, мы подсказали: «Ленин». Но Ленина он не знал. Зато, вдруг, просветлев, выпалил «КЖБ!» Мы догадались: КГБ. Это было несправедливо, оскорбительно: о России, о русских людях человек знал четыре слова: КГБ, козак, водка и самовар. Все равно, как мы о Голландии — голландский сыр и голландский шкипер. Но даже о Голландии помним — каналы, плотины, серебряные коньки... Вместо серебряных коньков за нами, как клеймо, сияло КГБ...

Конечно, — это самый низкий уровень понимания России на Западе. Есть и другой — о России сейчас много говорят писатели, журналисты, профессора, всю жизнь посвятившие изучению русского языка и русской культуры. Люди, не

только знающие, но и любящие Россию. Недавно мы спросили нескольких иностранцев (хотя на самом-то деле это мы здесь иностранцы): что такое на ваш просвещенный, европейский взгляд русский человек и как вы к нему относитесь? Заранее оговоримся: в этих рассуждениях — о природе русской души — не может быть однозначных и окончательных ответов: оставим вопрос открытым и попробуем выслушать разные точки зрения *).

Вот что сказал норвежский журналист Пер Эгил Хегге, несколько лет проживший в Москве.

Хегге: *Ну, иногда получается впечатление, это было и в Советском Союзе, когда я там работал. и здесь, что русская душа иногда отличается сильнейшей и неприятнейшей нетерпимостью. И это для нас, в Западной Европе, и неожиданно, и, я должен сказать, неприятно. Потому что нетерпимость никогда не вела к добрым вещам.*

Этой реплике вторит профессор Сорбонны Мишель Окутюрье, знаток и переводчик Солженицына, Пастернака, Мандельштама, больше двадцати лет отдавший русской литературе, живущий любовью и интересом к России.

Окутюрье: *Нас часто отталкивает и пугает в русских какое-то неумение ввести свои страсти в определенные правила, которые помогают жить. Это можно назвать условно фанатизмом и нетерпимостью: у вас все вопросы превращаются сразу из вопросов чисто, скажем, или практических, или политических — устройства быта, устройства*

*) Мы позволили себе подчеркнуть легкий акцент наших собеседников.

социальных отношений — все это превращается в вопросы метафизические, по которым начинаются какие-то непримиримые разногласия, и по любому поводу, мне кажется иногда, русские готовы затеять уже религиозную войну.

А когда я спросила Мишеля Окутюрье — не значит ли это, что наше российское сознание более средневековое, что ли, он горестно подтвердил :

Окутюрье : *Более религиозное, конечно, более религиозное, более нетерпимое...*

И вдруг кончил формулой :

Окутюрье : *русский от англичанина отличается страстностью, а от француза фанатичностью, нетерпимостью !*

Да что они сговорились что ли ? Нетерпимость и нетерпимость ! Но ведь они даже не знакомы друг с другом — норвежец Хегге и француз Окутюрье. Почему же все об одном : о российской нетерпимости, о русском фанатизме. На самом-то деле мы — добрые, мы — кроткие, и может быть в кажущейся этой нетерпимости не мы, русские, виноваты, а взрастившее нас Советское государство, готовое из любого пустяка сделать подобие военной затеи, военной потехи. Откройте любую советскую газету : ведь у нас даже уборка картошки приравнивается к вооруженной борьбе. Сражение с картошкой, борьба с инакомыслием. Штурм твердынь международного капитала, штурм посева озимых и снятия яровых. Штурм Зимнего. Все на защиту Родины — за выполнение производственной нормы. За повышение военного и художественного мастерства. « Летать дальше всех, выше всех и быстрее всех ».

Ну, мы и летаем. Страну трясет от всех этих мобилизаций. «Идеологический фронт». «Культурный фронт». Мы всегда жили и живем на фронтовом положении. И не мудрено, что, выехав оттуда, из СССР, мы на Западе, к удивлению иностранцев, продолжаем эту воинственную, агрессивную политику, нет, даже не политику — тональность, стиль жизни *).

Окутюрье : Отличается ли русский человек дома от русского человека за границей? Я думаю, что за границей ярче выступает то, что в русском человеке привлекает иностранца и одновременно, может быть, отталкивает иностранца. На фоне западной жизни ярче выступает контраст между русским характером, русским взглядом на мир и — нами. И мы чувствуем к русским людям одновременно и какое-то притяжение, потому что в вас есть некоторые вещи, про которые мы осознаем, что они нам нехватает, — более непосредственное отношение к основным вопросам бытия, меньше всяких условностей, но есть и то, что нас немножко пугает — и в русском человеке, и в России, в ее политическом строе. Я бы сказал, что, с одной стороны, у русских больше духовности, а с другой — больше стихийности. И еще я думаю, что тот строй, который сейчас существует в России, он чем-то соответствует русскому стремлению к каким-то абсолютным ценностям, а такая тяга имеет не только привлекательные стороны, но и чревата страшными опасностями.

*) Милль пардон, но еще поганец Кюстин писал: «Русское правление — это дисциплина военного стана, заменившая порядок гражданской общины, это — осадное положение, ставшее нормальным состоянием общества»

Может быть, это моя европейская самонадеянность, но мне кажется, что русские моложе европейцев. Вы думаете, может быть, что вы старше, я часто слышал, что русские испытали на себе то, что нас, людей Запада, еще ждет, но когда я говорю о стихийности русских и об их бóльшей непосредственности, то я думаю, что это признак молодости русской культуры.

По сути, о том же самом — только в более метафизическом плане, в плане идеалов, к которым стремится Россия, — говорит Майкл Скэм-мел, английский литератор.

Скэм-мел: Очень трудно в немногих словах охарактеризовать русских. Я знаю, что то, о чем я буду говорить, не всегда касается отдельных людей — отдельный человек всегда исключение. Но с точки зрения англичан, русские очень часто похожи на детей: отличительная черта русских — это то, что у них нет чувства меры. Они очень любят крайности.

У каждой нации есть свой комплекс, или больше, чем один комплекс. У русских это комплекс Христа: они все время воображают себе совершенный мир, где нет грех, где нет ошибок, где нет фальши. И они сравнивают наш действительный, наш настоящий мир с таким совершенным миром, который у них в голове или лежит на душе, — можно сказать, что это комплекс утопии. А когда мы, иностранцы, читаем Толстого, Достоевского, даже символистов, мы всегда видим у них такое понятие — начать новую жизнь, какую-то новую, чистую, совершенную, безупречную жизнь. И это, по-моему, чисто русская жажда совершенства, и это очень пленяет нас всем...

Но в результате то, что сейчас в Советском Союзе, — это злая пародия на утопию, это изнанка. так сказать, вашей утопии.

Вот эта обратимость русской души с хорошего на дурное и удивляет, и ужасает иностранцев. Стремление к раю на земле, обратившееся адом — здесь же, на земле. И тут очень трудно понять и решить, где кончаются наши достоинства и начинаются недостатки.

Сейчас мы уезжаем за границу — за государственную границу Советского Союза. И за рубеж, за рамки наших старых представлений о мире, о человечестве, о себе. Это довольно тяжело дается — выйти за пределы себя. Это надо сделать, и это, одновременно, — невозможно переступить. И те же европейцы опять-таки над нами смеются — ах! эти русские... Но где-то, я уверена, они втайне восхищаются нами, хотя нам самим не нужно собою слишком восхищаться. Мы должны помнить, мы должны изучать этот снисходительно-одобрительный взгляд на себе — иностранца. Смесь жалости, отвращения, боязни и любви.

Голландский профессор русской литературы Карел ван хет Реве рассказывает, что больше всего его удивляло и удивляет в русских. Заранее предупреждаем, что наш главный грех, о котором он говорит, содержит где-то, в зерне, и нашу добрую волю, нашу основу основ. За которую мы держимся. Которой живем. Только не следует забывать, что здесь же, поблизости, нас подстерегает опасность: как были дикари — так и останетесь дикарями, даже если уедете за границу...

Ван хет Реве : *Большой разницы между русскими дома и за границей по-моему нет. Странность,*

быть может, как раз в том, что они не изменяются: они там только о своем и здесь тоже все время о своем говорят. Я думаю, что русские за границей более изолированы от западного мира, чем все другие эмигранты, чем в свое время немцы, которые уехали из Германии при Гитлере. Иногда у меня создается впечатление, что вы приехали из странной и дикой страны, но что вы этого сами не замечаете. Здесь у меня сравнение: если человек из Центральной Африки или из Новой Гвинеи приезжает на Европу, то он обязан, чтобы жить здесь, хотя бы немного перестраивать себя, потому что здесь совсем другая жизнь, чем там, в лесах дремучих, и это сразу видно. А русский приезжает сюда, а на вид все нормально — трамваи ходят, как говорит Манделштам, университеты, дома, книги, магазины, газеты, — их, конечно, больше, но все-таки все приблизительно то же самое, и он не замечает, что он все-таки остается человеком другого общества. Тем более, что вы вообще мало интересуетесь западным миром: нас, иностранцев, поражает, что с русскими можно говорить почти исключительно о российских делах, ни о чем другом. Был у меня только один человек, с которым я мог вести общеевропейский разговор, скажем, об американских выборах — это был Андрей Амалрик, а все другие всегда о России, о России, о России... И это отличает, по моему, русскую эмиграцию от других. А еще, конечно, то, что вы между собою все время воюете. Какие-то споры есть во всех эмиграциях, но я думаю, что в этом смысле русская эмиграция — самая худшая в мире. В мировой истории, может быть...

Вы слышали? Русская эмиграция самая худшая из эмиграций — в мировой истории. Мы — хуже всех! Почему? Не потому ли, что за последние 60 лет Россия периодически извергает из себя всё новые и новые толпы? Либо истребляет людей, показавшихся ей неудобными, либо — выбрасывает. Такого, действительно, еще не бывало в истории. Страна, вернее сказать — государство, периодически освобождается от собственной культуры. И, может быть, поэтому мы так нетерпимы, фанатичны и неумеренны?

Но наверное в жизни всякой нации, как и в личности, в судьбе индивидуального человека, нельзя отделить *наши достоинства* от *наших недостатков*. Недостатки, говорят, продолжение наших достоинств, и наоборот. Мы не можем, мы не в силах пользоваться одними достоинствами, забыв или отбросив все недостатки. Тогда бы мы жили на небе, а не на земле. Тогда бы история кончилась в ее земной протяженности. Если мы — мысленно — зачеркнем недостатки и попытаемся из одних добродетелей соткать образ нации, образ народа, эпохи или образ человека (это не имеет существенного различия), мы неизбежно потеряем лицо нации, лицо человека, лицо истории. Русский максимализм, русский изоляционизм, русская нетерпимость — при всех страшных последствиях, к которым они ведут, вплоть до мировой революции и тотальных лагерей, — имеют то достоинство, что на этом выходе из себя и в дохождении до крайностей, с другой, противоположной, духовной стороны, и держится, в виде стержня или огня, религиозный и художественный пыл русской национальности и русской культуры.

Именно в этом и состоит наш многолетний спор с Западом. Они хотели бы всё уравновесить, всему придать приятную и полезную форму. Так вот, заранее скажем : не выйдет ! Не пройдет, господа ! Вы не получите от нас умеренного Достоевского, умеренного Маяковского, умеренного протопопа Аввакума. И то же самое — с другой, государственной стороны, — вы не дождетесь от нас коммунизма с человеческим лицом. Или доброго Ивана Грозного.

Но, может быть, как раз за это соединение крайностей, за эту неумеренность, — Запад нас, русских, и любит, и опасается. Мы одновременно и отталкиваем его, и притягиваем. Даже когда — в виде выходцев — мы приезжаем на Запад... И что нам делать ? Пусть об этом скажет иностранец, французский профессор Мишель Окутюрье.

Окутюрье : *Вы остаетесь русскими ! Если сравнивать... Я много думал о других выходцах из стран Восточной Европы — о поляках, чехах — так те гораздо быстрее и ассимилируются, и входят во французскую жизнь. А русские — они остаются русскими.*

К нашему ужасу, к нашему счастью — мы остаемся русскими...

Розанова, Мария Васильевна — родилась в 1930 году в городе Витебске. Окончила отделение истории искусств Московского Государственного Университета. Преподавала в художественных институтах Москвы. Печаталась в журнале « Декоративное искусство ». Как художник-прикладник участвовала в ряде выставок. В 1973 году выехала во Францию.

В ЗАЩИТУ РУССКОЙ ЦЕНЗУРЫ. ПО СЛУЧАЮ ЕЕ ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

« Я помню, что в годы моего цензорства один мой товарищ не хотел пропустить неблагожелательного отзыва о петербургской погоде, говоря, что это оскорбляет отечество ».

А Н. Никитенко

В колыбель русской литературы Чья-то рука уронила цензорские ножницы. Два кольца, два конца, гвоздик в середине. Прообраз герба. В начале было... Чик !!! Вместе с русским словом, внутри русского слова — чик ! Как принято говорить о любом непоправимом недоразумении : так исторически сложилось. По мнению Щедрина причину следует искать в каком-то свойстве отечественной психики. У каждого русского в голове стоит, мол, дремлющий городской и даже над идеальным градоначальником Глупова витает невидимый шпион. Что ни косточка — то червячок. Не знаю, не берусь судить. Одно достоверно : цензорские ножницы непрерывно щелкают, то вторя голосу, то заглушая его. Настолько привычен аккомпанемент, что как только он смолкает, слушатель по привычке восстанавливает его несложную мелодию Сердцебиение. Верные позывные, по которым узнают голос Москвы... Так и быть ! Вся русская литература была подцензурной и трудно ее представить без увечия и скрытых ран или, по край-

ней мере, без кружевных, зубчатых цензорских взоров: ибо цензура въедается в суть, не пренебрегая мелкими украшениями. Цензура слилась с живым словом, как душа с телом, как стиль с языком, как Так испокон века.

Само « Слово о полку Игореве » начинается с грозного совета — предвестника ждановских напутствий: « Не лепо ли ны бяшеть, братие, начати старыми словесы...! » Да без модернистских штук! Коль начинать, то непременно со старого! Затем — еще один вразумляющий удар кулаком: « Начати же ся той песни по *былинам сего времени*, а не по замышлению Бояню! » Былины сего времени — безупречная формула всякого реализма, а замышление б... Бедный Боян! Не сдобровать твоим роскошным метафорам! Пойми, Боян, до чего все это нам *чуждо*! А не поймешь — не зарадуешься! Брось ты « растекаться мыслью по древу и серым волком по земли »! Так нельзя! Это же внутренняя эмиграция!

Что, Александр Герцович,
На улице темно...
Брось, Александр Скерцович,
Чего там, все равно...

Пора (не успели запеть, так ничего: пора!), да, пора нам *вернуться* к здоровой старине. Таков зачин. Не лепо ли? Да, пожалуй и нелепо... А чем дальше в лес...

Листаешь « Новгородскую летопись » и не без волнения наталкиваешься на такие строки: « В лето 6536: Знамение Змиево на небеси явися. В лето 6537 В лето 6538 В лето 6539 »

.» и так далее до достопамятного лета 6545, когда «Заложил Ярослав город Киев и церковь Святыя Софии». Что именно случилось между мало обнадеживающим появлением Змея и основанием матери русских городов? Нам никогда об этом не узнать. Да неужели? Еще до основания Киева? Уже?! Да. Чья-то рука позаботилась пересыпать рукопись тем задумчивым многоточием, которому было суждено проветрить и украсить пушкинскую строфу. Только Пушкину могло вздуматься превратить мертвый цензурный пунктир и мигание милой бесконечности:

Громада двинулась и рассекает волны.

XII

Плывет. Куда ж нам плыть?..

.
.

Цензура. Чуть ли не цезура. Передышка. Вдох и выдох, без которых нет и дыхания. (Метафора тем приятна, что тут не скажешь, что с чем сравнивается. Она просто напоминает о духе, как обмене, как крепкой подвижной связи духовного и вещественного, как пределе.)

Цензура — мужественная опека, осознанная необходимость, твердое мужское правило для чересчур женственной русской души. В знак прощения любой государь мог бы напомнить заблудшей овце о своей отцовской любви. Но как это звучит у Николая? «Впредь твоим цензором буду я!» Этим все сказано. На это Пушкин не нашелся, что ответить. Умнейший муж России прекрасно понял: ему царское цензорство — все равно что пугачевская лапа Гриневу. Жесткая царственная

ласка. От такой любви никуда не уйдешь. Конец этой любви — Черная Речка...

Не оболочка — цензура, а нутро. Известен страшноватый петровский указ о надобности доносить на тех, кто пишет сатиры взаперти. А как узнать, коль взаперти? В том-то и дело. Указ этот не про сатиру, а про то, что не укроешься от Чьего-то Взора. Донос — лишь добровольный довесок приговора, любовно вынашиваемого в душе грешника. Была бы шея, найдется и ярмо. Был бы человек — дело найдется. Прекрасный указ. К тому же литературно оправдан (цензура догадлива!). Ведь какая могла быть сатира на куракинском языке? Погодите! Будет вам и сатира. Некрасовы там, Щедрины, все будет со временем. Не дура цензура. Она как все живое — диалектична. Печется она о чистоте и, главное, о современности русского слова.

Хоть Екатерину взять. Обладая тонким литературным и политическим чутьем, она поняла, чем грозит радищевское «Путешествие». Затормозила барскую колыхагу, беспечно катившуюся в пропасть. На целых полстолетья оберегла русскую словесность от нытиков. При национальной тяге к нудной дидактике и бесконечным выяснениям отношений с самим собой, что было бы, если бы раньше времени дали волю барам безнаказанно плакать о холопах? Мудрая жена велела сослать Радищева и тем спасла кратковременную, твердую, ясную дворянскую культуру пушкинской поры. Пушкину она кивнула благосклонно, а Добролюбовым приказала подождать в людской. За что Добролюбовы жестоко и многословно мстили и ее и его потомству. Что ж. Диалектика.

Как ветка, опущенная в соляной родник, жесткий цензурный запрет оброс причудливыми кристалльными цветами. И вот блеснули «Ревизор» и «Мертвые Души», там где действительность раскладывала одни «деревни, заселенные «Горемыками». Сколько раз опасное философствование и серые утопии разбивались об тесные ворота! В разгаре своей мощи цензура выковала сжатое до предела эзоповское слово. В худшем случае, она очистила литературу от дилетантов и впрягла в хорошую науку, в добросовестную эрудицию. Слава Победоносцеву, которому мы обязаны Серебряным Веком и расцветом большой скромной науки! Увы, часть бездарной молодежи ударилась в революцию — за всеми не уследишь! — сама цензура поддалась модным влияниям, плохо разобралась в изергиях и буреветниках, подекаденствовала, тем самым уготовив себе заслуженную гибель...

В феврале она оказалась на краю бездны... Она вяло чернила солдатские письма и военные корреспонденции, в землю смотрела... Можно было подумать... И в самом деле, Россия тогда разболталась на много веков вперед... Митинги, собрания. уличная глоссолалия... Но было не до писания. «Облако в штанах» уплывало в дали вчерашнего футуризма. «Петербург» был написан. «Двенадцать» еще впереди... Были, правда, «Апрельские Тезисы»... Потом наступил Октябрь и, как всегда на Руси, невозможное стало возможным. повязли спицы расписные в расхлябанные колеи, цензура не успела хорошенько помереть, как воскресла, уж навеки...

Только при советской власти цензура оконча-

тельно слилась с народом, чье моральное здоровье она так долго оберегала для будущих подвигов. Пропиталась его безоговорочным шовинизмом и поговорочной мудростью, сковырнула с себя позорную чужеземную кличку, стала безымянной, вездесущей и непечатной, как мат — «своей» в доску. Ее неписанные указы — верное отражение народной самозащиты. В ее приговорах знаток узнаёт размах мужицкой расправы. Нет такого ее негласного указа, которому бы горячо не сочувствовала безъязыкая улица. Народ, как правило, безмолвствует. Цензура глас народа. Смелости она знает и пору и меру. Знает, что не все смелые книги — своевременны. Был вам «Один день Ивана Денисовича»? Был. И хватит. Автор лучше не напишет, выбежав из-под одушевляющей кабалы. Мы же знаем... Главное — своевременность и стройность целого...

Милостива цензура! На каждый глаз она накладывает пятнышко надежды — раздражающее, благодатное бельмо, за которым всё чудятся голубые дали недописанного, недосказанного, недоделанного. Своими строгими обрядами цензура — и только цензура — напоминает о грехопадении, о том, что все равно всего не узнаешь, что сам Бог видит правду, да не скоро скажет... В обезбоженном мире, она верная служанка замолкшего богословия. Не будь ее, не было бы и Правды с большой буквы. Она осеняет пророков и ясновидцев, которые становятся близорукими, как только удаляются от нее...

За целое тысячелетие, цензура — единственный постоянный ориентир русского народа, так лениво и брезгливо относящегося ко всякому закону. Все

прочее рухнуло. А что пожиже — ушло в песок. Где светлокожие варяги? Где татары, которые за собой оставили казну, кнут, кандалы да людоедскую государственность? Где петровская дикарская немчизна? А александровская стройная колоннада? Где царская власть? Где церковь? Где сама Россия, чье имя исчезло? Из всего этого если что и выжило в глуши или в тайниках тоскливого сознания — то в самых туманных очертаниях, без строгого лика Закона. Так что:

*Красуйся, наш Главлит, и стой
Неколебимо, как Россия!!*

Без цензуры страна давно бы растеклась, изошла самоубийственной исповедью...

О необходимости цензурного хомута — и подхомутой теплой ворчащей соборности — говорит участь выбившихся из-под него. Тут речь не идет об онемении Ходасевича, о переходе Набокова к другому языку, об отчаянном беге под елабугскую петлю, о неожиданном бунинском или бердяевском советском патриотизме березово-танкового оттенка. То были еще вежливые дети старой России, воспитанные дряблой цензурой умирающей империи... Но побывавшие под твердой народной властью — ей и только ей обязаны «внутренней» свободой. Выпорхнув из-под тяжести, они заодно теряют и неволю и единственно ценимую ими волю. В состоянии пугающей невесомости стираются границы, сливаются понятия. Поскольку цензура была вправе все запрещать — чуть-чуть разжимая кулак по мужицкой доброте, — запущенные в космос бросаются на право всё говорить, не сразу понимая, что они очутились в другой

стихии. Речь изгнанников то раздувается, то сгущается по законам потусторонней физики, шепот разрастается в непонятный гул, крик боли измельчается в неуловимый писк. « Последнее Слово », так долго зревшее в жару гнева и печали, беспомощно глохнет в холодном мировом пространстве или разжижается в невнятную проповедь...

Что делать ? Запад, конечно, ругать не зазорно. За порнографию и свободные стихи. За распущенность нравов и нехватку танков. За то, что он, изойдя кровью после четырехлетней войны, не кинулся освобождать Россию от России же, не восстановил Романовых — или на худой конец Керенского — и не помешал стране стать тем, чем она веками рвалась стать — громадным тупиком. Можно и пощеголять отечественной манией рекордов по всем показателям : одна шестая суши ! две добрые трети мирового зла ! А по хулиганству ?.. По пьянству тоже не плошаем ! Но главное — страдания ! Они и дают нам право нахамить в три космоса ! Плевать во все колодцы ! В честь наших мучеников можем вести себя как Присыпкин на том свете ! Идите-ка, сразитесь с нами на поле сравнительной мартирологии !! Знай наших ! Не верите ? **Наши** вам покажут ! Они ведь не перестали быть **нашими**, а мы (хоть краешком души, ну хоть замашками !) **ихними** ! Поняли ? Мы как в воду видим ваше будущее. А вашим будущим будет наше вчера и наше сегодня, с ГУЛАГОМ и террором **по-нашему** ! Да не лезьте вы со своими бывшими войнами и резнями ! Это цветочки. Страдать полагается только **по-нашему**. В наказание за то, что **вы** — не **мы**, то **вы** будете **нами**,

хотя и не вполне достойны такой участи... По-
няли?

На такие славянофильские силлогизмы редко
кто отзывается из тех, кому они посвящаются.
Толстокожие. Носороги. Доводами не пробьешь.
Одно остается несчастным спутникам покинутой
земли: цепляться друг за друга мертвой недовер-
чивой хваткой и создать подобие потерянной же-
стокой и милой планеты: с внутренним одиноч-
ным гулагом, с портативной Лубянкой и карман-
ной Старой Площадью. Писать «Правду» наиз-
нанку. Распространять приемы «Крокодила» с
примесью острожной похабщины и лагерного до-
носительства. Обличать, ругать, клеветать. Швы-
ряться анафемой и злобными намеками. Вечность
здоровой сплетни! Кто с нами — тот против нас!
И так туго закрутить круговую поруку страха и
злословия, чтоб Г.Б. стал по-настоящему вездесу-
щим, всемогущим, как Господь Бог. Ну а если
всю правду сказать.

.
.
. А вы бы !!!!!
. Помилуйте!
. !!! . . . ?
. Цензуру мне! Цензуру !!!

Мартинез, Луи — родился в 1933 году в Алжире. Окончил
Эколь Нормаль в Париже. Русскому языку обучался под
руководством поэта-акмеиста Николая Оцуца. В 55-56 гг.
учился в Москве. С 1964 года преподает русский язык и
литературу в Университете Экс-ан-Прованс. Переводил
Пастернака, Мандельштама, Солженицына, Салтыкова-
Щедрина, Копелева и Терца.

Поиски

В Москве широкую известность приобрел самиздатский журнал «ПОИСКИ». В январе с. г., накануне выхода, тираж пятого номера был конфискован. Однако номер все же увидел свет.

В недавнем обзоре журнала по этому поводу сказано: «По-видимому, 79-ый год в пятилетнем плане КГБ значится, как год решающей победы над гидрой самиздата... Размах обысков за прошедшее с начала года время поражает воображение даже издавших виды ветеранов демократического движения. По предварительным данным, обыски прошли, по крайней мере, в четырех городах (Москва, Ленинград, Киев, Одесса), число их уже превысило полсотни... Изымаются уже вышедшие работы, изымаются рукописи и черновики, материалы для будущих публикаций, архивы и редакционные портфели... изымаются машинки, фотоаппаратура, вплоть до фотоэкспонетров, изымаются копірка и чистая бумага (в протоколах обыска так и пишут: «изъято... чистая бумага — 14 кг.»), клей, шрифтоочиститель, кисточки, краски, тушь, изымаются даже вырезки из советских газет и фотографии знакомых... Удивительно: шариковые ручки и гусиные перья пока оставляют.

Насколько выполнимыми окажутся планы по разгрому самиздата — покажет будущее. А пока в редакцию «Поисков» продолжают поступать поздравления в связи с выходом пятого номера, задержавшегося лишь на две недели после конфискации тиража. В специально сделанном заявлении редакция заверила читателей, что приложит все усилия для выполнения ранее объявленных планов».

«ПОИСКИ» — это первая в истории Самиздата попытка создать «толстый» периодический журнал. Первый номер журнала вышел в мае 1978 года, вскоре после суда над Ю. Орловым, и был ему посвящен. «ПОИСКИ» объединяют людей разных взглядов и направлений. Участники журнала руководствуются принципами плюрализма, самооценности каждой точки зрения и стремлением к взаимопониманию спорящих сторон. В редакционной страничке «Приглашение», открывающей № 1, говорится:

«Нашему замыслу соответствовало бы название, слишком длинное для журнала — ПОИСКИ ВЗАИ-

МОПОНИМАНИЯ. Нисколько не урезая замысел, мы сократили лишь название, и к участию в наших «**ПОИСКАХ**» приглашаем всех, кто за взаимопонимание... Мир миров, стремящийся стать человечеством, — вправе ли мы попустить, чтобы «правом оставаться собой» распоряжалось многоликое насилие, всякое приращение к единомыслию, любой владетельный запрет на идейные искания, на движение проблем, не знающих кордонов?!»

Мы всей душою поддерживаем эту позицию.

Ниже мы публикуем статью Г. Померанца из журнала «**ПОИСКИ**», № 5.

Г. Померанц

ТОЛСТОЙ И ВОСТОК

Вместо предисловия

Эта работа — доклад, тема которого была мне предложена проф. Витторе Бранка для выступления на конференции «Гуманизм Толстого» в Венеции (окт. 1978 г). Я не рассчитывал, что меня самого пустят, но доклад написал и отправил по почте. 11 ноября заказное письмо пришло обратно с разъяснением, что рукописи Московский почтамт к отправке за рубеж не принимает: для этого уполномочены некоторые организации по особому списку. Я имел случай убедиться, что обращаться в подобные организации (мне, по крайней мере) бесполезно. В 1977 г. пришел гонорар за переводы моих статей (ранее опубликованных в СССР) в журнале «Диоген». ВААП соглашался выдать мне деньги, если какое-нибудь учреждение даст бумажку, что не возражает против этого, т.е. против перевода моих статей, прошедших довольно жесткое редактирование и главлит. Институт, в котором я работал, отказал; институт, отвечавший за сборник, в котором была опубликована одна из статей, тоже отказал. Из Тарту мне не ответили, после этого опыта не имело смысла обивать пороги. В самом лучшем и почти

невероятном случае пришлось бы подчиниться предварительной цензуре, что-то вычеркивать... А я свое отслужил. более не сотрудник Академии наук и от опеки над своей мыслью устал.

**
*

Тема «Толстой и Восток» давно привлекала внимание; не раз уже отмечено было адаптирование Толстым классиков китайской философии, его влияние на Ганди, переписка с Ку Хун-мином и т. п.¹). Можно поставить Толстого в ряд со многими европейцами, находившими на Востоке поддержку в своей полемике с другими европейцами или в своем индивидуальном духовном развитии, не укладывавшемся в европейские колеи. Однако Толстой принадлежит скорее европеизированному миру, чем собственно Европе, и существует также возможность рассматривать его в одном ряду с мыслителями и поэтами Азии, испытавшими влияние Запада. Обе эти возможности нас не вполне удовлетворяют. Мы сталкиваемся здесь с трудностью, которую вызывает любое углубление в проблемы русской культуры (к какому миру принадлежит Россия?) и еще с одной трудностью, связанной с расплывчатостью понятия Восток.

Запад — вполне определенный «культурный круг» (Шпенглер), «цивилизация» (Тойнби), «коалиция культур» (Леви-Стросс) или «субэкумена»¹). Но что такое Восток? Всё, что не Запад?

1) См. в особенности книгу: Шифман А.И. Лев Толстой и Восток, М., 1971.

1) См. нашу статью: Теория субэкумен и проблема своеобразия восточных культур. Ученые записки Тартуского ун-та, 1976, Вып. 392. Труды по востоковедению, № 3, с. 42-67.

Тогда лучше так и говорить Незапад, подчеркивая условность объединения нескольких культурных миров Азии, плюс Африка, плюс не вполне латинизированные страны Латинской Америки, плюс Россия, — каждый мир со своей историей и судьбой... Толстой (как и вся Россия) принадлежит Западу, не принадлежа Востоку; во всяком случае, — ни одной из устойчивых цивилизаций Востока: ни миру ислама, ни индо-буддийскому миру. Можно говорить о Восточности России в рамках средиземноморской дихотомии: Россия продолжает традиции восточной ветви вселенской церкви и Восточной Римской империи. Но как раз против этих традиций Толстой решительно восстает. Здесь «восточен» Достоевский, а Толстой в своей резкой критике русского византизма смыкается с самыми крайними западниками.

Что же такое Незапад? Можно ли говорить о культуре Запада?

По нашему мнению, культурная общность Запада создана только процессом вестернизации. Западный (но и не собственно восточный) слой культуры характеризуется расколом на западников и этнофилов (защитников местного своеобразия) и спором сторонников и противников вестернизации, — чуждым как собственно Западу, так и Востоку (до контакта с Западом). Этот модернизированный слой не очень глубок и прорывается, как только мы от социальных и политических проблем перейдем к религиозно-философским. Термин «Запад», «западные страны», продуктивный в социологии, тотчас теряет здесь смысл. В исследовании религии и философии в одну группу попадают иудаизм, христианство и

ислам (сонаследники библейской и эллинской мудрости), в другую — страны индийского Востока, в третью — страны Дальнего Востока. Незападность Тагора и Лу Синя не создает их глубинной общности. Не определяет она и характерно толстовское в миросозерцании Толстого — его позицию философского Робинзона.

Каким образом в России XIX в., рядом с западничеством и славянофильством, воплотилась мечта Ибн Туфейля, Руссо и Хаксли, и устами русского графа заговорил «благородный дикарь»? Этот уникальный случай, оставаясь уникальным, требует объяснения. Гомеровский эпос невозможен в век паровозов и железных дорог. Как же стал возможным толстовский эпос, с могучей медленностью «Войны и мира»? Каким образом человек, приехавший в Люцерн по железной дороге, написал «Люцерн», отряхнул со своих ног прах прогресса и стал писать так, словно впервые — пешком — шагнул в историю, пробуя ее босыми ногами? Философствовать так, словно до него не было никакой философии? Какая традиция привела и толстовскому отрицанию традиций высокой культуры? На какие слои народного сознания опирался его бунт?

Некоторый свет на феномен Толстого проливает концепция русской истории, изложенная в статье Г.П. Федотова «Трагедия русской интеллигенции» 1). В первой части статьи, «Пролог в Киеве», Федотов подчеркивает двойственное значение славянского перевода Библии: русский

1) К сожалению, у автора нет под руками книги Федотова, и он лишен возможности дать точную ссылку.

язык обогатился греческими кальками; но отнят был стимул изучать греческий, как Запад изучал латынь; языковый барьер отрезал Русь от философской традиции Средиземноморья. « Не хотели читать Платона — стали зубрить Каутского » — эпиграмматически заключает Федотов. Но с отсутствием философской традиции можно связать и некоторые достоинства русской культуры, или, по крайней мере, русского романа XIX в., впервые открывшего для русского духа его философское измерение.

Русские мыслители начала XX в., как-то вдруг появившиеся после нескольких нефилософских веков, вырастают из романов Достоевского и Толстого, как натуральная школа — из гоголевской « Шинели ». Почти все они комментируют Достоевского и полемизируют со Львом Толстым, обнаруживая так называемую « почву », в которую уходят своими корнями. Философская насыщенность текстов Достоевского и Толстого не идет ни в какое сравнение с современной им западной литературой. Если есть какая-то параллель, то разве « Фауст » Гёте. Но « Фауст » был перекличкой поэзии с философией Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. А Достоевский и Толстой слишком могучи сравнительно с Чаадаевым, Белинским и ранними славянофилами. Русский роман не столько откликается на философское движение, сколько создает его, как библейский Бог создал мир из ничего. В этой философской первозданности — сила русского романа. Великие русские писатели ставят коренные вопросы бытия так, словно их никто никогда еще не ставил. Это для Достоевского, для Толстого еще сама жизнь, а не предмет

университетского преподавания (которому не место в изящной литературе).

С первозданностью философии связана и неловкость в рассуждениях, бросающаяся в глаза особенно у Толстого. Достоевский лучше понимал технические трудности предмета и осторожнее их обходил, бросая заветные мысли короткой репликой, не разжевывая и не « унижая идею », а наивность утрируя и превращая в характеристику персонажа. Толстой чаще брался за указку учителя и чаще ставил себя в положение, которое было бы смешным, если бы не было великим (от смешного до великого так же недалеко, как от великого до смешного).

Прямолинейность мысли Толстого вызывала взрывы сарказма у мыслителей серебряного века; однако рассуждения самоучки из Ясной Поляны до сих пор интересны, до сих пор комментируются... Мы интуитивно чувствуем, что Толстой не был попросту плохим мыслителем. Банальная фраза, что хороший художник — плохой мыслитель, вряд ли когда-нибудь была совершенно верна. Во всяком случае, она неверна, когда писатель ставит философскую проблему как вопрос собственной жизни и смерти, — « до полной гибели всерьез » (Пастернак). Постановка вопроса — это акт мысли, и может быть более важный, чем ответ. Ответы, идеалы разъединяют (Восток от Запада, христиан от буддистов и проч.). Открытые вопросы объединяют людей и ставят каждого перед одной для всех вечностью.

Толстой велик как мыслитель в своем умении заново, — сдирая хрестоматийный глянец ответов, — ставить вечные вопросы: о бесконечности,

смерти, несправедливости, страдании. Чтобы почувствовать силу его переживания абстрактных идей, достаточно привести несколько строк из романа « Анна Каренина » (ч. 8, гл. 9): « В бесконечном времени, в бесконечности материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек-организм, и пузырек этот подержится и лопнет, и пузырек этот я... Это была мучительная неправда, но это был единственный, последний результат вековых трудов мысли человеческой в этом направлении... Это была жестокая насмешка какой-то злой силы... Надо было избавиться от этой силы, и избавление было в руках каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла, и было одно средство — смерть. И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться ».

Тот, кого это никогда не потрясало, может стать профессором философии, но мыслителем он не родился. Толстой родился мыслителем и отсутствие хорошей философской школы не отымает у него метафизического первородства. Он видит, чувствует мысли. В самом ужасе, с которым он отшатывается от метафизической бездны, есть глубинная достоверность; есть жажда глубинного знания, без которого жить нельзя; и в ярости, с которой Толстой разгребал груды ученых комментариев, добываясь подлинного духовного опыта, был его великий вклад в историю мысли.

У всякого гения были предшественники. Предшественником Толстого можно считать его любимого поэта Ф.И. Тютчева.

Разделительная линия, проходящая в толстовском мире между Добром и Злом, намечена тютчевскими стихами :

Невозмутимый строй во всем,
Согласье полное в природе.
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем...

Романтический культ целостности природы и народного, близкого природе, сознания вообще не чужд Но романтики только какими-то короткими всплесками достигали своего идеала. Это именно идеал, а не жизнь. Поэтическое дыхание романтиков коротко. Уникальность Толстого — в широком дыхании его прозы, в создании художественного мира, где природа и народ приобретают как бы вторую жизнь. Художественный гений Толстого неотделим здесь от нравственной решимости, с которой Оленин готов был записаться в казаки и жениться на Марьяне; и с которой сам Толстой ушел из Ясной Поляны. Чувство опоры на сознание миллионов и миллиардов недешево далось; и завоевание его связано было с некоторыми издержками.

Толстой несомненно осязал народ как живую реальность и в то же время строил его как головную конструкцию, вычеркивал то, что не ложилось в схему. Его народ не бунтовщик, и бесполезно звать его к топору (как делал Чернышевский). Но несколько веков имперского сознания тоже никак не отпечатались в толстовской народной душе. Толстовскому народу не хочется освободить братьев-славян; он подозрительно-недоверчив к империи, прицеливающейся навести поря-

док на гнилом Западе, и к православию он равнодушен, если не прямо враждебен. Народная вера, в понимании Толстого, — не церковная вера. В полемике, вызванной романом « Анна Каренина », Достоевский обвинил Толстого в обособлении от народа. Однако Толстой обособился только от некоторых аспектов народного сознания, близких Достоевскому, и акцентировал другие (чуждые Достоевскому). За спором двух великих писателей стоит текучесть самого народного характера, в положительном своем аспекте утверждавшаяся как широта, а в негативном осуждавшаяся (тем же Достоевским) как беспочвенность.

Если взглянуть на историю России, бросаются в глаза крутые, не вытекавшие из внутреннего развития, навязанные судьбою переломы, сметавшие старые культурные связи во имя новых (в свою очередь недолгих). Европейские нации сложились в единых рамках Европы, крепких уже к раннему средневековью и несколько веков скреплявшихся католичеством. Перемены нового времени назрели в них самих и развивались в форме « концерта » национальных инструментов, направляемых единой, хотя и незримой дирижерской палочкой (духом европейской цивилизации как целого, духом сложившейся системы). А Русь то связана с варварским севером Европы, то с « полем » хазар, печенегов и половцев, то с Византией, то с Ордой, то с Западом рационалистов и просветителей XVIII в. Создать из этого что-то единое удается крайне редко; и достигнутое легко теряется, вместе с гибелью узкого слоя, бывшего его носителем (например, — боярской верхушки, истребленной Иваном Грозным). Ни один стиль вы-

сокой культуры не стал до конца народным стилем (как в странах устойчивой цивилизации). Народная культура противостоит культуре верхов, как древляне (жившие в лесу и молившиеся пням) — Киеву, как деревня XIX в. — Санкт-Петербургу. Достоевский считал беспочвенным только вестернизированный слой, созданный реформами Петра. Толстой шел дальше. Он отрицал как чуждый, навязанный мужику и византийский слой, для Достоевского (и за ним для всего серебряного века) почвенно русский. С этим спором о границе почвы и беспочвенности связано отношение к Толстому как живому противнику, поныне сохранившееся в некоторых православных кругах 1).

Если византийско-православный слой — почва русской культуры, то слой, до которого добирается Толстой, — подпочва, и Толстой добирается до этого подпочвенного слоя именно благодаря своей беспочвенности, благодаря радикально нигилистическому сдиранию исторической почвы. Можно рассматривать позицию Толстого как «обособление», эгоцентризм, чудачество; но есть в ней и нечто большее; за толстовским нигилизмом просвечивает тысячелетнее сопротивление восточных славян тяготам империи, сопротивление этнографии истории, народного быта, сохранившего некоторые черты племенного быта, и нивелирующей силе цивилизации. В какой-то мере за толстовским отрицанием исторического

1) Эта полемическая враждебность, в свою очередь, вызывает у А. Краснова-Левитина апологию Толстого (ср. «Лихие годы», II, 1977).

величия стоит сопротивление всего мирового крестьянства, мировой деревни — мировому городу. Это огромная сила, и Толстой понимал ее, когда говорил, что большинство человечества живет не в Англии, а в таких странах, как Россия, Индия, Китай.

Толстой одновременно ультра-традиционалист и нигилист. Его эгоцентризм, его прямолинейная манера рассуждать принадлежит той самой поверхностной цивилизации, которую он отрицает. В складе характера и ума Толстого своеобразно отразилась его эпоха, когда в России одновременно (а не последовательно, как в Европе) существовали просвещение, романтизм и позитивизм, то полемизируя друг с другом, то сплетаясь 1). Толстой и романтически глубок, и просветительски прямолинейен. Он ставит тютчевские вопросы — и отвечает так, как ответил бы Чернышевский (если бы не считал вздором, не заслуживающим ответа). Громит Шекспира, оперу, медицину, литературу, как библейский пророк вавилонскую блудницу и как Маяковский сбрасывал Пушкина с корабля современности. Срывает маски с подлинного лица культуры — вместе с кожей. Или, если воспользоваться другой метафорой, — сдирает с луковицы культуры слой за слоем, до нуля, до трех аршинов земли, которых довольно только покойнику, до призыва не рожать больше детей.

Во многих созданиях Толстого можно указать на связь недостатков его ума с недостатками его

1) Подробнее см. в нашей статье : « Некоторые особенности литературного процесса на Востоке. В кн. « Литература и культура Китая », М., 1972, с. 292-303. На франц. и англ. языках в журнале *Diegene*, 1975, № 92.

характера; например, в «Крейцеровой сонате» видно (по нашему мнению) раздражение эгоцентрика, пытающегося навязать молодости свое старческое чувство оскомины. Толстой слишком сильно чувствовал, чтобы иногда не оказываться во власти разрушительных порывов чувства. Однако центральная идея позднего Толстого — непротивление злу насилием — не может быть сведена к реакциям невротика. Эта идея рождена не поверхностными слоями рассудка, а последними глубинами человеческого умозрения. И то, что Толстой эту идею понял, принял и пытался освободить от оговорок, лишаящих силы, — это его немеркнущая заслуга. Здесь категоричность Толстого обнаруживает свою правоту.

Немеркнущей заслугой Толстого была и его попытка подняться над европейской гордыней культуры, над христианской гордыней вероисповедания, и увидеть в учениях Иудеи, Индии и Китая одну суть, одно горение любви, ищущей преобразить и спасти всех, не разделяя друзей и врагов. Здесь опять «доисторичность», «подпочвенность» Толстого позволили ему перешагнуть через рубежи, созданные историей.

Рассудочность Толстого исказила осуществление этой идеи, но не саму идею. Рассудочность заставила выломать из Евангелия, из Лаоцзы, из Анналектов Конфуция отдельные фразы и построить из этих кирпичиков свое собственное здание, слишком прямоугольное 1).

1) Впрочем, исследование структуры «Круга чтения» может (как заметила Е. В. Завадская) раскрыть некоторые типологические параллели, пересекающие границы Востока и Запада. В том, как Толстой группирует Цице-

Было бы мудрее поставить вопрос, сформулировать задачу духа и предоставить духу ее решать — веками, постепенно находя в учениях Запада и Востока внутреннюю единую сущность. Толстовская манера опираться на восточную мудрость напоминает вольтеррианский деизм. Но вопрос, на который Толстой ищет ответа, — не просветительский.

Пафос творчества Толстого — упрек, который сама природа, дерево, падающее под топором дровосека, и простая жизнь миллиарда простых людей бросает цивилизации, исчерпавшей свои фаустовские ценности. Этот пафос, этот дух издавна назывался светом с Востока. Толстой — одно из имен, которые невольно вспоминаются, когда думаешь об этом (не совсем географическом) Востоке. В этом духе и смысле Толстой был актуален для Ганди и остается актуальным для всех нас. И в наши дни, может быть, больше, чем 70 лет тому назад, когда написана была статья «Не могу молчать», вся целостность духа Толстого отвечает на пароксизмы насилия всем собой: любовью.

**
*

P.S. Еще в шестидесятые годы мне пришлось писать, что движение интеллигенции или выродится, или примет характер сатьяграхи. Но сатьяграха Ганди — только усовершенствование нравствен-

рона с Конфуцием, а Марка Аврелия с Лао-цзы, есть внутренняя логика.

но-политических идей Толстого. Я знаю, что эти идеи высказаны несколько прямолинейно, угловато, и ничего не стоит поднять их на смех. Все равно. Суть, пафос призывов Толстого не устарели.

Я люблю Достоевского больше, чем Толстого. Толстой с ужасом отшатывается от темной бездны, через которую Достоевский как-то ведет к свету. Я об этом много говорил и писал. Но русская культурная традиция не вся вместилась в Достоевского. И слава Богу — Достоевский не без урона проходит сквозь ад; он не только обличитель бесовщины; он сам платит ей дань. Достоевский — один из самых острых углов русской культуры. В целостности культуры он непременно должен был быть чем-то уравновешен, и он был уравновешен. Уравновешен политически — традицией русского западнического либерализма. Мне пришлось уже говорить — в 1970 г. — что своим духовным руководителем я избрал бы Достоевского, а своим политическим консультантом — гр. А.К. Толстого. Сейчас мне хочется добавить, что еще более серьезный противовес Достоевскому (на уровне более глубоких слоев мирозерцания) — Лев Толстой. И это не против почвенничества в том смысле, в котором оно задумано было Достоевским и Аполлоном Григорьевым и отчасти осуществлено в пушкинской речи. Ибо это давнее почвенничество — не славянофильство в своей яростной крайности (которому Достоевский иногда платил дань), а попытка синтеза западничества и славянофильства, в широком понимании — задача синтеза всех разноречивых тенденций русской культуры.

В 1878 году, в полемике, вызванной последними страницами « Анны Карениной », столкнулись философия и этика истории с философией и этикой антиистории. Столкнулся византийский пласт русской культуры, с его глубинами православия и соблазнами империи, распявшей Христа, и пласт доисторический, догосударственный, антигосударственный.

И.Р. Шафаревич говорит в интервью корреспонденту газеты « Франкфуртер альгемайне цайтунг », май 1978 г., что в « русской культуре XIX в. величайшие гении, Гоголь, Достоевский, Толстой — тоже стояли на почве православия » По отношению к Гоголю и Достоевскому это верно, пусть в неодинаковом смысле : Достоевский « понимал под православием идею, не изменяя однако ему вовсе », по-моему, его православие открытее и плодотворнее; с точки зрения К. Леонтьева, это вообще не православие, но Толстой... Как можно, без всяких оговорок, поместить на почву православия человека, отлученного от церкви? Издававшегося над литургией? И по сути своего мышления близкого, может быть, христианским сектам, но *никогда* не способного смириться перед православием? В самые близкие к православию моменты своей жизни — не выходящего за рамки *диалога* с церковью? Мне кажется, что под православие Толстого так же невозможно подтянуть, как и под революцию. Это *неправославный* гений русской культуры. И одного Толстого довольно, чтобы сказать : русская культура неотделима от православия, но она не сводится к нему. Она разностройна, и возрождение ее возможно только как возрождение *всех* ее течений с широ-

ким диалогом между ними и отдаленным идеалом синтеза.

Мысль Достоевского тоньше, мысль Толстого грубее. Но пусть она груба. Пафос антиистории, пафос бунта против истории в чем-то близок и дорог XX веку. И когда читаешь Шиманова, видишь, что Иван Карамазов, не желавший стать навозом ни для католического, ни для социалистического, ни для православного будущего, в чем-то прав. Несмотря на все усилия Достоевского привести себя к смирению перед империей.

Толстой близок мне (и думаю не только мне) своим отказом покориться истории и государству. Его этика — это одновременно этика рода, предшествующего государству, и личности, отстаивающей свою свободу вопреки государству. Как этика рода, она устарела, как этика независимости личности, она жива и должна быть серьезно понята.

14.12.78 г.

Померанц, Григорий Соломонович — родился в 1918 году в Литве. С 1937 года учился в Институте философии, литературы и истории (ИФЛИ) в Москве. После начала Второй Мировой войны пошел добровольцем на фронт и четыре года служил в советской армии. В 1947 году исключен из партии и арестован по политическому обвинению, срок отбывал в Мордовских лагерях. В 1958 году амнистирован. Работал учителем в Донбассе, затем возвратился в Москву, где работал в фундаментальной библиотеке общественных наук. Г. Померанц написал диссертацию о дзен-буддизме, но не получил разрешения на ее защиту за заявление о своем несогласии с решением суда по делу Галанскова, Гинзбурга и других в 1968 году. В самиздате известно несколько публицистических статей Г. Померанца, часть которых была собрана в книгу и напечатана за границей под названием «Неопубликованное».

Литература

и искусство

Абрам Терц

ОТЕЧЕСТВО. БЛАТНАЯ ПЕСНЯ...

Народ? Начинай сначала (поминай как звали). Где и что он такое — народ? Коллективная сила? Опора? Держава? Абстракция? Идеал? Патриотическая фикция? Эгоизм, путем родства, возведенный в квадрат? Этнография?..

*Сижу я це-е-льный день, скучаю,
В окно тюремная гляжу...*

Пьяный пристаёт. За рублем. «— Но я ж русский человек?!» Клянётся и в рот и в нос, что он русский. Сунешь ему рупь — отвяжись. А он свое: «— Я — русский?!... Я русским языком тебе говорю?!..»

Как спрашивает себя (и нас), удостоверяясь. И будто негодует или жалуется кому-то: русский!..

Окромя «русского», ничего за душой. Ни принадлежности к истории, к обществу, к семье, к собственности, к какому-нибудь селу или городу, к заводу или колхозу. Он мать и отца не помнит. Имя забыл. Жену и детей рассеял. Он совесть пропил. В Бога не верит и не чует под ногами земли, по которой ходит. Только повторяет угрюмо, заученно, как бы сомневаясь или надеясь на что-то: русский он всё еще или не русский?..

Что-то похожее случается иногда со всеми нами. Потеряв всё, мы спрашиваем тревожно: русские мы или не русские? Будто бы это главное... Француз почему-то не спрашивает. И англичанин. Я проверял. Испанец не пристанет к прохожему: «нет, ты мне ответь — испанец я или не испанец?! тебе говорят испанским языком!..» Можно и на японском.

Только мы одни так себя окликаем. Чувство неприютности, потерянности лица владеет нами, выливаясь в извечный вопрос, в единственное и последнее (телесное) определение души: русские или не русские?.. Как эхо. Терзаем себя, убиваем друг друга, оплакиваем... Выясняем, что значит быть русским и что не быть. Есть разные рецепты... Мне (за других не говорю) на память, на помощь обычно приходит песня. Увы, не старинная и не классическая, не дворянская и не крестьянская. Ничья. Без дома, без рода (и даже без паспорта).

*Сижу я цельный день, скучаю,
В окно тюремное гляжу.
А слезы катятся, братишка, незаметно
По исхудалому моему лицу...*

Можно и повеселее:

*А поезд был набит битком,
А я, как курва, с котелком —
По шпалам, по шпалам!..*

Блатная песня. Национальная, на вздыбленной российской равнине ставшая блатной. То есть потерявшей, кажется, все координаты: чести, совести, семьи, религии... Но глубже других со-

временных песен помнит она о себе, что она — русская. Как тот пьяный. Всё утратив, порвав последние связи, она продолжает оставаться « своей », « подлинной », « народной », « всеобщей ». Когда от общества нечего ждать, остается песня, на которую всё еще надеешься. И кто-то еще поет, выражая « душу народа » на воровском жаргоне, словно спрашивает, угрожая : русский ты или не русский ? !..

Знаю — возразят : да разве ж это народ ? Это же подонки, отбросы. Всё самое подлое, гадкое, злое, что было и есть в России, воплотилось в этом жадном до чужого добра, зверином племени. Возможно. Допускаю. Но послушаем сначала, как и о чем они поют. И тогда, быть может, нам приоткроются окна и горизонты более широкие, нежели просто повесть о блатной преисподней, лежащие за пределами (как, впрочем, и в пределах) собственно-воровского промысла...

Посмотрите : тут всё есть. И наша исконная, волком воющая, грусть-тоска — вперемежку с диким весельем, с традиционным же русским разгулом (о котором Гоголь писал, что, дескать, в русских песнях « мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унести куда-то вместе с звуками »). И наш природный максимализм в запросах и попытках достичь недостижимого. Бродяжничество. Страсть к переменам. Риск и жажда риска... Вечная судьба-доля, которую не объедешь. Жертва, искупление. Словом, семена злачной песни упали, по-видимому, на благодатную, хорошо приготовленную народную почву и взошли, в конце концов, не одной

тишь ядовитой крапивой и низкопробным чертополохом, но в полном объеме нашим песенным достоянием, чаще всего прекрасным в своих цветах и корнях, независимо от того, кто персонально автор и чем он промышляет в свободное от поэзии время.

Мало того, собственно блатной (воровской или хулиганский) акцент и позволил этой стихии на несколько десятилетий сделаться единственно национальной, всеобщей, оттеснив на задний план деревенский и пролетарский фольклор. И тот же постыдный акцент сообщает подчас поразительную живость традиционным мотивам, казалось бы, вышедшим из моды с успехами прогресса. Скажем, любовный песенный диалог (амебейное пение: « — А мы просо сеяли-сеяли! — А мы просо вытопчем-вытопчем!.. ») — возвращается на родину в виде нового состязания, где « он » и « она » как бы меняются местами.

Он :

*Ты не стой на льду —
Лед провалится.
Не люби ворá —
Вор завалится.
Вор завалится — станет чалиться,
Передачу носить — не понравится.*

Она :

*Д'я стояла на льду —
И стоять буду!
Д'я любила ворá —
И любить буду!
Эх, знала бы — не давала бы
Черноглазому огольцу!..*

... Или вспомним и утолим, наконец, страсть к быстрой езде («и какой же русский не любит быстрой езды?»), высказанную столькими тройками, бубенцами, ямщиками и подхваченную — трамваем.

*Держась за ручки, словно ж... своей Раи,
Наш Костя ехал по Садовой на трамвае,
За ним гнались тридцать ментов, два агента
И с ними шейка — рыжий пес!..*

О том же (так притягательно !):

*...По трамваям всё скакаешь,
Рысаков перегоняешь...*

А русский максимализм («душа просит») — в требованиях парадоксальных, заносчивых, беззаконных !

*Дрын дубовый я достану,
Всех чертей калечить стану :
Отчего нет водки на Луне ?!..*

И тут же, под боком, — прелестная воровская Утопия, как пародийное (невольное) развитие социалистической идеи, либо давней нашей мечты о земном рае, о сказочном царстве-государстве с молочными реками и кисельными берегами :

*Там кодексов совсем не существует,
А кто захочет — тот идет ворует.
Рестораны, лавки, банки
Лишь открыты для приманки,
О ворах никто и не толкует..*

Короче говоря, и не занимаясь специальным анализом, достаточно окинуть беглым взглядом

этот заклятый вертоград, чтобы убедиться, насколько, с одной стороны, он укоренен в традиции, а с другой — как она препарируется здесь по-новому, в высшей степени неожиданно и поэтически оригинально. И что-то сходное по остроте мы наблюдаем в схватывании внезапных примет современности или разительных, неповторимых жестов и движений человека. Когда, например, в избитую общую схему («любил — убил») вносятся замечания сугубо индивидуального опыта, необычные для фольклора в своей режущей конкретности :

*Сижу я в несознанке, жду от силы пятерик,
Как вдруг случайно вскрылось это дело.*

Пришел еврей Шапиро, мой защитничек-старик :

*— Ну, — говорит, — не миновать тебе
расстрела !..*

Не следует забывать, что взгляд вора, уже в силу профессиональных навыков и талантов, обладает большей цепкостью, нежели наше зрение. Что своею изобретательностью, игрою ума, пластической гибкостью вор превосходит среднюю норму, отпущенную нам природой. А русский вор и подавно (как русский и как вор) склонен к фокусу и жонглерству — и в каждодневной практике, и тем более, конечно, в поэтике. Образ вора-художника, вора-затейника (и волшебника), так хорошо и прочно закрепленный в народных сказках, новое продолжение находит в песне, где тот уже поет о себе от собственного лица, выступая перед нами наподобие артиста, маэстро, знающего толк в ловкости рук и слова.

*Я сын чародея, преступного мира.
Я вор. Меня трудно полюбить...*

Полюбить, действительно, трудно, а вот «чародействами» его невольно восхищаетесь. Поскольку само искусство, сама эстетика дела становится здесь нередко центральным предметом поэзии, порождая массу нестандартных и дополнительных стилистических выходов, иной раз весьма рискованных, нескромных или мерзких по смыслу, но достойных удивления как художественный феномен. Быстрота, натиск, смелость и пружинистая внезапность решений, и явное, бьющее на эффект, на показ циркачество. Пускай ручается автор за правдивость повествования в духе «бескрылого реализма»: *« вот об этом расскажу я просто — темой выбрал жизненную быль »*. Главное ему зачаровать и ошеломить зрителя курьезной и лихой эскападой, заимствуя порою приемы из привычного арсенала, из воровского-хулиганского жаргона-обихода, что, однако, в поэтическом контексте звучит безобидно и празднично, как прекрасная для автора и его благодарной публики театральная программа-забава, готовая со сцены убогого, в общем-то, быта перекинуться разбойничьим посвистом на весь белый свет.

И перекидывается... Это мы видим в самой, наверное, известной и сравнительно ранней песне «Гоп-со-смыком», оказавшей такое влияние на блатную музыку. Едва ли не всё мироздание обращается там в арену гиперболического воровского «Я», представленного в основном цирковыми номерами, прыжками, акробатикой, клоунадой

всякого рода, так что кличка героя *Гоп-со-смыком*, совпадая с образом всей песни, становится нарицательной — и не просто в социально-жизненном аспекте, а даже, можно заметить, в стилистическом отношении. Беру не семантику, а экспрессию и звуковую инструментовку этого заливчатского имени. «Гоп» — и мы в тюрьме, «гоп» — на воле, «гоп» — на Луне, «гоп» — в раю, и всюду — со «смыком», с ревом, с гиком, с мычанием, с песней, с добычей. Бросается в глаза подвижность композиции, как если бы она отвечала психо-физической организации нашего молодца, чьи мысли и воображение прыгают, а тело ритмично движется, будто на шарнирах, — очевидно, из профессиональных задатков и ради высшего артистизма. Не зря, вероятно, на блатном жаргоне «скачок» или «скок» означает квартирную кражу, внезапную, без подготовки (набег, налет — по вдохновению). И тот же «скок» (или «гоп») мы наблюдаем постоянно в сюжете, в языке, в нахождении деталей, метафор — во множестве похожих и не похожих на «Гоп-со-смыком» творений.

Сошлюсь на дурной вариант, в отличие от основного, классического источника получивший подзаголовок *дипломатического* «Гоп-со-смыком», где автор скакнул аж в советскую дипломатию и, надо признать, довольно ловко с точки зрения конъюнктуры, чего, однако, не скажешь о его литературных достоинствах (видимо, помешал сторонний «социальный заказ»). Перед нами обзор международной обстановки и советской внешней политики, как это тогда рисовалось по газетам, — в переводе на откровенный язык. Не-

трудно установить дату сочинения: до войны с Гитлером, но после уже, либо в начале памятной финской кампании, о чем и поется в соответствии с патриотической версией: «*Финляндия нам тоже приказала: отдайте нам всю землю до Урала...*» (Это Финляндия-то!..)

Наиболее удачной в немудрящих этих куплетах представляется громкая отповедь (к сожалению, неудобочитаемая), адресованная иностранным державам от имени непреклонного Советского Правительства. Найдена универсальная формула дипломатического ответа на всевозможные каверзы, ультиматумы, и одновременно проясняется та роковая проблема, над которой столько бились великие философы, историки и поэты — проблема странной, загадочной миссии России между Востоком и Западом, между Азией и Европой. Об этом, мы знаем, писал в свое время Александр Блок в знаменитом стихотворении «Скифы», вуалируя наглухо рифму поэтической инверсией:

*Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!..*

Ну а тут без инверсий. Таинственное «двуединое», «срединное» положение России решено одним махом, одним скачком, которым берется этот философский барьер:

*Я японца в
И на всю Европу!
Сунетесь — и вас мы разобьем!..*

Кидняк, скажете? Фуфлó? Туфтá? Кукла? Это фúцан написал? !.. Не уверен. Ну, может, и не подлинный вор (вор в законе), а всё же персонаж, причастный к этой материи, весьма обширной и текучей, которую, имея дело с песней (а не с кастой), мы не в силах распределить по мастям: где тут истинный, идущий от корня, от самого нутра, воровской голос, а где простой хулиган ввязался или какая-нибудь сявка. А то, что повсюду на первый план выпирает декорация, эффектный жест, акробатический номер, так это именно во вкусе блатной музыки, повествующей, помимо прочего, о себе самой, о художнике, о приверженности к эстетике, сопряженной в этих условиях с искусством воровства, а попутно с искусством вообще, как таковым, что и сплетается — в песню.

Взгляните, сколько места отводится тут одеянию, костюму — по контрасту с окружающей бедностью, с низкой действительностью. В этом сквозит безусловно остро пахнущая психология клана: вор на работе должен выглядеть респектабельно, а легкое обогащение и кратковременность, эфемерность свободного бытия порождают потребность хоть раз в жизни, коль повезло, блеснуть графом, шикануть по-княжески, разодеть дорогую маруху в пух и прах. Но это же свидетельствует другой своей стороною (вступает скрипка) о художественной натуре, ищущей прикоснуться «к чему-нибудь возвышенному».. Как сама песня: она тоже прикосновение где-то к небесной красоте и тоже исключение из общих правил: такое только раз в жизни бывает... И вот он спрашивает Мурку о мотивах ее предатель-

ства, искренне недоумевая: « что тебя заставило связаться с лягашами и пойти работать в Губчека? » Потому что это не только утрата нравственности, но и конец эстетики — была ангел, а чем стала?

*Раньше ты носила туфли из торгсина,
Лаковые туфли на большой!
А теперь ты носишь рваные калоши,
Рваные калоши на босой!*

« Рваные калоши », с точки зрения правды реализма, явно противоречат новому положению Мурки, которая ходит теперь, сказано, в кожанке и при нагане. Но как еще передать всю глубину ее падения, как лучше оплакать поруганную красоту? !. Вот и слышим — из песни в песню:

...Костюмчик новенький, колесики со скрипом...

.. И шкары! и шкары!

.. И вот меня побрили, костюмчик унесли...

Ах, этот костюмчик!..

« Там за столом сидел один угрюмый, одет изысканно, с растерзанной душой ». Душа терзалась, как видим, воспоминанием о матери. Сваливается к ней на голову, в подвал, и мать спрашивает:

*Ты, сын, пришел ко мне, изысканно одетый,
Зачем пришел больное сердце рвать?..*

Затем ведь и пришел, чтобы — сверх переживаний, сверх « растерзанной души » — « изысканно одетым » явиться. Как в театре, занавес раздвигается и — !..

*Вдруг стуки в дверь, и двери отворились,
Вошел в костюмчике и в кожаном пальто...*

Нужен ему этот костюмчик ! Да он его в карты просадит при первой же оказии. Красота нужна. А чем и как украшаться — это уже зависит от моды, от достатка и темперамента. Кому что наряднее. Одному, допустим, достаточно фонаря под глазом, чтобы радоваться жизни.

*Фонарь ношу, а он мене не страшен :
Такой большой, как будто разукрашен !
Если морда не разбита,
Не достоин ты бандита, —
Так уж повелось в квартале нашем !*

Другие, между тем, корчат великосветские рожи, извиваясь в « салонном танго ».

*...Две полудевы и один фартовый мальчик,
Который ездил развлекаться в город Налычик,
И возвращался на машине марки Форда,
И шил костюмы непременно как у лорда.*

А третий выходит на сцену и в мир — налегке.

*Когда я был мальчишкой,
Носил я брюки-клёш,
Соломенную шляпу
И острый финский нож.*

*Я мать свою зарезал,
Отца своого убил,
А младшую сестренку
В колодце утопил.*

Не пугайтесь ! Это он кокетничает. Список загубленных душ в данном случае всего-навсего

продолжение костюма, изысканный шлейф, боевое оперение юного денди-индейца. Правда, подобная костюмерия на практике плохо кончается. Но в песне она сохраняет по преимуществу декоративный характер, юмористически или сентиментально окрашенный. То же относится к сценам убийства. Они лишены буквального содержания и воспринимаются, как яркий спектакль. Это как в жестоком, экзотическом романсе, с которым блатной жанр близко соприкасается: потребность в красоте берет верх над соображениями разума, утилитарности или морали.

*...И убийца, бледнее, чем мел,
Труп схватил, с ним танцуя, запел...*

За всем этим просвечивает распространенная философия: «Что наша жизнь? — Игра! (пусть неудачник плачет)». Но в среде, о которой речь, это высказано последовательнее и решительнее, чем где-либо. В итоге люди здесь уже как будто не живут, а непрерывно играют, выкладывая ставкой на стол свои и чужие жизни. Недаром карты составляют необходимый фон воровской судьбы, психологии, иконографии.

*Но суд сказал, что карта ваша бита,
За проигрыш придется уплатить.*

Это не обычные игроки-картежники, испытывающие риск в жизни лишь за карточным столом. В часы досуга вор садится за карты, с тем чтобы, отдыхая, продолжать пытаться судьбу, построенную на острой интриге. Он пригубливает авантюрную фабулу, за которую в рабочее время рискует головой. Он не может от нее отвязаться. Не потому,

что заядлый картежник, а потому, что — вор. И карты лишь безвредное (сравнительно), иносказательное сопровождение той крупной игры, которую он ведет наяву.

Примерно такую же функцию выполняет блатная песня. Она воспроизводит действительность в виде карточной игры. То есть в общем-то схоже, но в более условных или размытых контурах. Это игра, уже очищенная от жизни. В ней мы более или менее остаемся на уровне искусства, и, хотя создателем оказывается преступник, его позиция « игрока » в сочетании с « песней » перевешивают в эстетику, возбуждая наше бескорыстное любопытство.

*Только я шамовки наберу,
Ищу себе партнера на « бурю »,
Целу ночь сижую-играю,
Краденое загоняю,
Утром от разводки убегаю.*

Понятно, подмена жизни игрой не сулит ничего доброго человеку и его окружению. Играючи, можно ведь и зарезать, а уж обокрасть сам чорт велел. Но тот же игровой элемент на заглавных ролях сообщает блатной песне облик театрального зрелища, снимая слишком прямые и близкие аналогии между вымыслом и действительностью. Все происходит не вполне серьезно, не совсем реально, а как бы в воображении автора, который сам же, случается, эти фантазии саркастически оценивает, играя душою и телом — напоказ — в любом переплете. Положение обязывает.

*Сижую на нарах, как король на именинах,
И пайку серого мечтаю получить...*

Чего он так веселится? чем бравивирует? почему упивается контрастами зыбкого своего, ничтожного существования? Да потому скорее всего, что мнит себя артистом, а заодно и режиссером, и смотрит на свое прошлое уже со стороны, прокручивая его в уме на манер кинофильма, полного возвышенно-комических, игровых ситуаций.

*Мне дама ноги целовала, как шальная,
Одна вдова со мной пропала отчий дом,
А мой нахальный смех
Всегда имел успех, —
И наша юность полетела кувырком.*

То, что всё пропало, всё погибло, компенсируется сознанием, что зато всё летит кувырком, вроде какой-то карусели, фейерверка, балагана... И даже в минуты уныния, которые чередуются с приступами смеха, такой «остраненный» подход к собственной персоне и своей печальной судьбе преобладает, заставляя и самую смерть воспринимать как некий художественный аттракцион или коронный фокус, достойный замедленной съемки, который необходимо входит в состав увлекательной фабулы, демонстрируя миру тот же полет «кувырком».

*...А если заметит тюремная стража,
Тогда я, мальчонка, пропал!
Тревога и выстрел, и вниз головою
С карниза я сорвался и упал.*

*Я буду лежать на тюремной кровати,
Я буду лежать и умирать...
А ты не придешь ко мне, милая мамаша,
Меня обнимать и целовать.*

Как медленно, как нарочито медленно умирает мальчонка, позируя и продлевая страдания в картине злосчастного своего жребия, которым он откровенно любит... Когда слышишь эти методы, закрадывается грустная мысль: какой громадный талант погибает в воровском употреблении! Но тут же спохватываешься: почему же погибает? Погибая, он проявляет себя — и в песне, и в афере. Без аферы песне, к сожалению, не обойтись. Приспособьте ее к полезному производству, и она умолкнет. Уж лучше — в тюрьму...

Центральная!

Ах, ночи, полные огня!

Центральная!

Зачем сгубила ты меня?

Центральная!

Я твой бессменный арестант,

Погибли юность и талант

В стенах твоих...

Если сама тюрьма похожа на консерваторию, на оперу, на эстраду, то можно представить, какие гастроли начнутся, выпусти актеров на волю... Огней! Вина! Женщин! Карты! Гитару! Карету! Трамвай! Король я или не король?.. И пошла писать. Что ни кража, смотришь, — высокое мастерство. Золотые руки. Глаз — ватерпас. Краснознаменный ансамбль. Комедия дель арте...

На мотив унылых заводских «Кирпичиков» сложены пародийные, бандитские «Кирпичики», забавные и приятные: заурядный грабеж «на гоп-стоп» разыгран по законам зажигательного спектакля. На сей раз перед нами костюмерия на выворот — раздевают шикарного фраера и его

субтильную даму, соблюдая вежливый тон и пунктуальность деталей.

*А как вынул он портсигарище —
В ём без мала на фунт серебра ..*

И вся комическая ситуация (богатый кавалер вдруг становится голым и жалким) решена исключительно средствами зрелищного воздействия, доставляя исполнителям в первую очередь художественное удовольствие — не оттого, что они так ловко обтяпали дельце, а собственно театральной эксцентрикой и картинностью происшедшего. Грабеж заканчивается живописным кадром :

*Жаль, что не было там фотографа,
А то славный бы вышел портрет :
Дама в шляпочке и в сорочечке,
А на нем даже этого нет !..*

Скажут злорадно : вы бы запели по-другому, когда бы оказались на месте потерпевших. Не спорю. Запел бы по-другому. Но это была бы уже не песня, а печальный факт моей биографии или, возьмем расширительно, « социальное бедствие », « мораль », « полиция », « борьба с преступностью », « юридический казус » и прочее и прочее, что прямого отношения к поэзии не имеет, а иногда и вступает с ней в неразрешимое противоречие. Это совсем не значит, что искусство « вне-социально » или « аморально ». Просто социальные и нравственные критерии у него, по-видимому, несколько иные, чем в обычной жизни, более широкие, что ли. Поэтому, например, пушкинский « Узник », как художественный образ, не пройдет по разряду уголовников, хотя не приведи Господь

встретиться с этим «орлом» в каком-нибудь темном лесу, где он клевал или клюет свою «кровою пищу». И Пугачев у Пушкина в «Капитанской дочке» не очень-то похож на свой прообраз, на реального Пугачева, которого тот же Пушкин, в согласии с исторической правдой, непривлекательно описал в «Истории Пугачевского бунта». А без «выдуманного», «поэтического», пушкинского Пугачева (в «Капитанской дочке») нам не обойтись, доколе мы, допустим, ищем постичь и русский бунт, и русскую душу, и народ, и фольклор, и самого Пушкина (просто без Пугачева, как исторического лица, мы в принципе обойдемся).

Блатная песня тем и замечательна, что содержит слепок души народа (а не только физиономии вора), и в этом качестве, во множестве образцов, может претендовать на звание национальной русской песни, обнаруживая — даже на этом нищенском и подозрительном уровне — то прекрасное, что в жизни скрыто от наших глаз. Более того, блатная песня (именно как песня) в своем зерне чиста и невинна, как малое дитя, и глубокой духовной, нравственной нотой, независимо от собственной воли, отрицает преступления, которые она, казалось бы, с таким знанием воспевает. Но в том-то и дело, что воспевает нечто другое. Мы не найдем здесь прославления злодейства в его подлинном, бесчеловечном образе, без каких-либо иных поворотов и обертонов, которые его подменяют, смягчают и уводят в сторону, например, «эстетики», «веселья», «несчастной доли», «геройского подвига», «верности», «любви» и т. д. Словно душа народа не может и не хочет

признать себя злой, в корне, в основе злой, и жаждет добра на самых скользких путях... Славен и велик народ, у которого злодеи поют такие песни. Но и как он, должно быть, смятен и обездолен, если вора и разбойникам дано эту всеобщую песню сложить полнее и лучше, чем какому-либо иному сословию. До какой высоты поднялся! До каких степеней упал!..

*Над лагерем склонился сон глубокий,
Луна, сверкая, вышла из-за туч...
А в эту ночь, мой милый, мой хороший,
Письмо тебе строчит родная дочь...*

Поет воровайка, хриплым голосом беря пронзительно-высокую ноту, надрывая сердце себе и слушателям.

*Но не жалей ты дочери несчастной,
За преступленье суд ее карал,
Волчицею безжалостной, опасной,
Я помню, прокурор меня назвал...*

Мне, однако, довелось слышать эту же песню в несколько ином, странном варианте. Вопреки здравому смыслу, сюжету, логике текста и самой рифме, исполнительница вывела, как припечатала:

*Волчицею безжалостной, опасной,
Я помню, прокурора назвала!*

Я восхитился. Вот оно — отвержение зла. Да и метафизически прокурор злее и отвратительнее подсудимого, пускай и формально прав. Не с прокурорами же нам заодно поносить бедную греш-

чицу. Она сама себя не щадит и рисует довольно точную картину своего падения :

*Одна, одна во всем я виновата,
Одну прошу во всем и обвинить :
Хотела жить роскошно и богато —
Скачки лепить, мадэру, водку пить...*

До чего просто, вульгарно и наивно предлагаемое нам мирозерцание. Хочется воскликнуть : вот и вся « роскошь », вся « красота », к которой мы так стремимся и которой недостает в этом бедном мире ? !. Нет, не вся. Песня-письмо увенчивается фигурой, в высшей степени внезапной и никак не вытекающей из предлагаемого рассказа. Соглашаясь покрыть долг и расплатиться за грех, за проигрыш, воровайка достигает в финале того « нарушения пропорций » (опять же логики, смысла, рифмы), той « потусторонней ноты », которые и выводят песню на иную орбиту нравственно-поэтического бытия. И это есть освобождение.

*Я уплачу его в тайге далекой,
Я уплачу пилой и топором...
Ах, голубь, ты мой голубь сизокрылый,
Скажи, зачем отвергнута любовь ?..*

Какая любовь, если раньше о ней не было ни слова ? Кто отверг ? И что это за голубь ? Совершенно не важно. Жизнь отвергла. Душа хочет голубя. И сизокрылый голубь (любви, свободы, нравственного оправдания) вылетает из песни, которая и становится его, голубя, телом, олицетворением...

На этой основе, возможно, и завязываются

нежные отношения между песней блатной и песней традиционной, общенациональной, условно говоря (условно — поскольку блатная и сама по себе, безо всяких контаминаций, способна на общенациональную значимость). Происходит как бы братание песен, и старинные или общеупотребительные мотивы органически входят в состав нового существования.

*Умер жульман, умер жульман,
Умерла надежда...
Лишь остался конь воронный,
Сбруя золотая...*

Он не остался, этот конь, он сюда прискакал — чуть ли не из былины. Своих услышал.

*Ой, да приведите коня мне вороного,
Крепче держите под уздцы...*

Таким древним запевом начинается рассказ о вещах, не известных прошлому («А в лагерях конвойный кричит: — Не вертуйся!..» и т. д.). И это не просто сползание одного фольклорного пласта на другой, а родство душ, единство судьбы, позволяющие обняться так далеко отодвинутым друг от друга стихиям.

*А теперь на мотив «Ямщика»
Пропою про себя, чудака:
Как я дожил, мальчишка блатной,
До позорной до жизни такой.
Рано в карты я начал играть,
Рано пьянствовать и воровать
По карманам различных людей...
Эх, ямщик, не гони лошадей...*

Это в жизни всё так разделено, что «воры» это одно, а «народ» — другое. В песне всё — общее, всё — свое... Когда это было?

*Далеко, в земле Иркутской,
Там построен большой дом,
Он построен для народа,
Арестанты живут в нем...*

Построен-то давно. Но в нашу эпоху этот дом охватил народ как будто в полном объеме. И наряду с очевидными акцентами современности в новом исполнении во всю силу зазвучала традиция, стирая исторические и социальные границы. Однако распавшаяся в истории «связь времен» восстанавливается в песне, можно заметить, несколько однобоко — по одной преимущественно генетической ветви:

*Сижу я в камере, все в той же камере,
В которой, может быть, сидел мой дед,
И жду этапа я, этапа дальнего,
Как ждал отец его в семнадцать лет...*

Преимственность поколений, единство народной жизни наново постигались в тюрьме. И здесь же встретились реки со всех концов России. В итоге, по поводу того или другого конкретного источника, мы не можем сказать со всей определенностью — блатная это мелодия или тюремная вообще, и кто ее сложил — «вор», «мужик» или «политик».

*Суровый советский закон,
Он карает, как дракон...*

Всех карает. Один хозяин.

*Далеко там, на Севере дальнем,
Там есть лагеря ГПУ...
Вот об этом рассказ свой печальный
Я сегодня, друзья, поведу...*

*...Не жди, ненаглядная мама,
Твой сын не вернется домой,
Он сгоронен на Севере дальнем,
Под высокой столетней сосной.*

Вот оно, вечное древо, — « среди долины ровных »... Поют и те и другие. Специфически воровской стиль и антураж то вдруг проглянет, то угаснет, сменившись иным колоритом, и это порой осуществляется на протяжении одного и того же песенного текста, мерцающего разными гранями народного сознания.

*Я сижу в одиночке
И плюю в потолок.
Пред людьми я виновен,
Перед Богом я чист.
Преодо мною — икона.
И запретная зона.
А на вышке маячит
Независтный чекист.
По тундре, по широкой дороге...*

А на воле тем временем, в « большой зоне », протекают другие процессы — в пользу « блатной отравы » *). Она, быть может, одна еще всех как-то объединяет и связывает в деклассированном

*) Из песни .

*А ты мне говорила, что ты меня любила,
Что жизнь блатная хуже, чем отрав.*

мире, где все, однако, деклассированы по-разному. Ведь с некоторых пор всеобъемлющее слово « народ » звучит у нас, как пустая бочка, будто выудили содержимое (корень), компенсируя, в утешение, мнимым величием бочки — нестерпимым героическим треском вокруг « трудовых будней » (лишенных вкуса работать) да грохотом « пролетарских праздников » (с одним преимуществом — праздность). « Народ » исчез, превратившись в « массу », в кашу, выделив в отместку, как тучу пыли, — блатных... В истинно же блатном состоянии каждый сызнова сам себе господин, индивидуум, личность (можно позавидовать) — без привязанностей, без обязательств, кроме как перед бандой, без предрассудков, без целей, голый на голой земле. Люмпен, вор, хулиган возвращаются к природной, звериной жизни, но уже не в природе, а на улице, в подворотне, в толпе. И порою эта среда куда более полно, нежели безглазая масса, выражает черты русской самобытности — в разобществленном виде, в распыленной форме. Так же как лицо у разбойника слушается ярче, отчетливее (кристаллик пыли), привлекая романтиков от Горького до Байрона.

Перед нами, в увенчание, разъединенный человек — разъединенный с домом, с обществом, с прошлым, с самим собою, и в этой отделенности — злой (народ же, по идее, всегда добрый, как не бывает до конца разъединенного народа). Человек этот — Каин (Авель — еще народ) : выродок. бунтовщик, отщепенец. Добрым он становится в песне. воссоединяясь с « народом », которого, возможно, и нет уже, но песня — грезит. Отсюда такой разрыв между блатной действительностью

и ее же порождением, песней. В быту — ужас и грязь, в песне — очищение. Не бойтесь, когда пацаны бацают на гитаре, привалясь к забору, как заправдашная шпана. Не песня заражает: воздух кругом заражен. Хуже будет, когда они замолчат...

Итак, сходятся встречные потоки, с удаленных и противоположных сторон. Но если блатная песня под свое «голубиное крылышко» принимает весьма разноречивые мотивы и становится подчас по звучанию всенародной, то в собственно деревенском и городском фольклоре наблюдается своего рода «облатнение» песенной народной традиции. Воровская среда и жанр, сами по себе, в том не виновны. Все естественнее и страшнее. Это видно хотя бы по колхозным частушкам 30-ых годов, где подводятся итоги социальных переворотов, состоявших в повсеместном вырывании корней.

*На кусту сидит ворона
И кричит « карá-карá ».
Все колхознички подошли,
Председателю пора.*

За такие песенки недолго было « по тундре, по широкой дороге » покатиться в лагерь — под любым соусом: кулака, кулацкого подголоска, бандита и даже террориста, « политика ». Ну чем не террорист?

*С неба звездочка упала
Председателю в трубу.
Председатель, давай хлеба,
А то морду разобью!*

Хулиган, тунеядец, отброс общества...

В давнее время (в 1913 г.) на бунтарские настроения в деревне Ленин реагировал так: «То, что называют хулиганством, есть следствие главным образом неимоверного озлобления крестьян и *первоначальных форм их протеста*». Позднее, лет через пять, через семь, этих протестантов либо приводили в «пролетарское сознание», либо стреляли. Тем не менее «первоначальные формы» достигли таких размеров, что уже в наши дни приходится иногда слышать мнение, будто массовая преступность у нас, воровство, хулиганство, спекуляция и даже пьянство — всё это зачатки «революционного протеста» и «политической оппозиции». Лично я не склонен к столь оптимальным выводам. В подобной трактовке русский человек только и делает, что устраивает оппозицию и революцию у себя на дому. Но следует признать, что процессы разрушения «основ» и «устоев», упразднение почвы, структуры зашли так далеко, что само понятие «народ» в результате как бы расщепилось и выветрилось, давая одновременно возможность искать этот «народ» где угодно, повсюду, в том числе в преступной среде (так называемой или буквально преступной). И русская частушка, и песня об этом голоса.

Понятно, частушка по жанру и складу всегда отличалась удалью, грубостью, озорством. Неслучайно революцию как национальную стихию лучше всего воспроизвел Блок в «Двенадцати» — в образах и формах частушки. Какая, однако ж, нужна отчаянность в народе, какое злое терпение требуется, чтобы пройдя всё, к концу 30-ых го-

дов, плоды социализма вновь осмыслить и воспеть в « первоначальной форме » :

Всю пшеницу — за границу.

Овес — в коперацию.

Баб — на мясозаготовку.

Девок — в облигацию.

Что же потом, после всего происшедшего, ужасаться, если эта девка, попав « в облигацию », споет :

— Хоп-гоп, Зоя!

Кому дала стоя?

— Начальнику конвоя!

Не выходя из строя!

Это не влияние блатного фольклора на деревенскую непосредственность. Скорее — обратное : проникновение колхозной частушки в новую, блатную среду. Диффузия. Вода. Ветер. Пыль. Народ...

**

...Сергей Есенин, рассказывают, накануне самоубийства день-деньской тянул одну гамму — как волчий вой в ночи — песню тамбовских крестьян-повстанцев, прозванных « бандитами » и раздавленных войсками. Впрочем, песня и впрямь была блатная, русская, тоскующая. Что-то вроде :

На кусту сидит ворона.

Коммунист, взводи курок!

В час полночный похоронят,

Закопают под шумок...

Опять ворона на том же кусту? Nevermore?
И мы угадываем канву, интонацию, которую воспроизводил Есенин следом за тамбовцами, в развитие и продолжение песни советских беспризорных (будущих воров и бандитов) :

*Вот умру я, умру я,
Похоронят меня.
И никто не узнает,
Где могилка моя.*

*И никто не узнает,
И никто не придет.
Только раннею весною
Соловей пропоет...*

Ворона и соловей вместе, он прощался со стихией, его породившей, им воспетой. Это к ней он обращался под конец жизни и творчества :

*Я только им пою,
Ночующим в котлах,
Пою для них,
Кто спит порой в сортире.
О, пусть они
Хотя б прочтут в стихах,
Что есть за них
Обиженные в мире.*

(« Русь бесприютная »)

Никто в высокой лирике так полно не вместил этот смятенный народ, от мужика до хулигана, от пугачевщины до Москвы кабацкой, как это сделал Есенин, ту стихию превзойдя в поэтической гармонии, но и выразив настолько, что ос-

тался в итоге самым нашим национальным, самым народным поэтом XX столетия. Слова «Есенин» и «Россия» рифмуются. Вряд ли это ему удалось бы без «блатной ноты».

Теперь Есенина чтут и любят все: первый партиец и ханыга, генерал и спекулянт, пожилой рабочий и юный студент-эстет. Но мало кто помнит, что «красногривый жеребенок», бегущий за поездом («милый, милый, смешной дуралей»), в реальном, социально-историческом истолковании был для автора «наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно». Деревня и Махно «в революции нашей, — продолжает Есенин в письме 1920-го года, — страшно походят на этого жеребенка тягательством живой силы и железной». А кто такой Махно? — удивимся и спросим советских историков. — Бандит и анархист! — отвечают. У Есенина — об этом же находим другое. Крестьянская революционная вольница, использованная государством и государством же приконченная. «Конь стальной победил коня живого». «Железный гость», «город» вышел на всероссийский степной простор. «...Идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому...» (из того же письма — август 1920 г.).

В сущности, здесь уже, в есенинских стихах и поэмах, с 19-го года, предсказаны коллективизация, раскулачивание, хулиганство, лагеря — распыление жизни и личности. Не город — государство наступает на песню.

*Жилист мускул у дьявольской выи,
И легка ей чугунная гать.
Ну, да что же? Ведь нам не впервые
И расшатываться, и пропадать.*

Не впервые. С Пугачева. Пропадай пропадом. Вразвалку. « И сколько много он вложил в свою походочку — все говорят, что он балтийский морячок... » Блатной? Все — блатные. « Сестры суки и братья кобели, я, как вы, у людей в загоне... » Наперекосяк. Раскачиваясь...

Это о ней, об остатках национальной России, свершавшей революцию, обманутой, преданной и ушедшей в подполье, в разбой, в кабак, писал Есенин, выражая свое « социальное нутро » :

*Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.*

*Жалко им, что Октябрь суровый
Обманул их в своей пурге,
И уж удалюю точится новый,
Крепко спрятанный нож в сапоге...*

Нож в бок — как ответ на революцию и естественные ее последствия? Надежда на Смуту? На Третью Революцию — Духа? Вера в народ? Всё вместе. Но революции — не будет. Дух мятежа выродился в бандитизм. Распался и расползся. Напрасно уповал Есенин :

*Нет! Таких не подмять, не рассеять.
Бесшабашность им гилью дана...*

Подмяли и рассеяли. Только по лагерям, как по горам, перекачивается :

*Ты, Рассея моя... Рас-сея...
Азиатская сторона !*

Ой-ё-ёй, как отзовется это эхо : « рассеянная Рассея » ! Скольких обворуют, убьют ! Бесшабашность, заправленная гнилью, принесет потомство на помойке, какого еще не знала история. И оно, потомство, не станет церемониться; однако и не подумает ниспровергать режим, в котором родилось, расцвело и воспиталось, чувствуя себя, как рыба в воде, в новом мире-море. И всё же эта блатная советская семья благодарно ответит Есенину как своему пахану и первому поэту России. Ответит, перекладывая « такой красивый, красивый ! » есенинский стих на жестокий, собственный опыт. Выйдет, разумеется, не так мелодично, не так умно и благородно, как нам хотелось бы — не так, как у Сергея Есенина. Куда проще и ближе к подлиннику, к жизни, если хотите. Но есенинская печать лежит на этих бастардах его национальной лирики. Перелистаем его « Письмо матери » (« Ты жива еще моя старушка ?.. »), « Ответ » (« Ну, а отцу куплю я штуки эти... »), « Письмо деду » (« Но внук учебы этой не постиг... ») и другие стихотворения Есенина того же сорта и сравним с блатными песнями — с воображаемыми письмами из лагеря старухе-матери в деревню. Как и что отвечает вор своей патриархальной, крестьянской родине ?

*Ты пишешь, что корова околела
И не хватает в доме молока...
Ну ничего, поправим это дело :
Куплю тебе я дойного быка.*

Цинично? Безжалостно? А что еще он может ей купить и прислать, загибаясь на каторге?..

*С работой обстоит у нас недурно :
Встаем с утра, едва проглянет свет.
Наш Лёнька только харкает по урнам,
А я гляжу, попал он или нет.*

*...Ты пишешь, чтоб прислал тебе железа,
Что крышу надо заново покрыть.
Железа у нас тоже не хватило,
И дырки хлебом придется залепить...*

Если не смеяться, можно сойти с ума.

**
*

...Говоря об успехах блатной песни и широком ее бытовании, ее заманчивости и резонансе, нельзя обойти стороною противоположный факт, факт холодного отчуждения и решительного неприятия, какое она возбуждает иногда, притом у искушенного слушателя. Бывшие политзаключенные сталинской поры (58-ая статья), на собственном горьком опыте узнавшие цену блатным, всю эту воровскую поэтику подчас и на дух не выносят. Слишком живо она облекается в плоть и кровь. Еще бы! Такая встреча « интеллигенции » с « народом », такая кошмарная правда, прущая на вас без стыда и жалости. « А ну тащи кёшер ! Скидай барахло ! Лезь под нары ! Пусть я сдохну завтра, а ты — сегодня ! » Оба сдохнут. Вопрос — кто раньше?.. В 30-ые и 40-ые годы диктатуру в зоне, мы знаем, нередко удерживал, взимая дань, как татарская орда, этот бойкий и сплоченный

народец, который страшно размножился, закалился, возвысился и, опоясавшись неписанным железным «законом», основал независимое государство в государстве. Его авторитарная власть была грознее лагерного начальства. А начальству нравилось («классовая борьба»), да и выгодно было стращать и стравливать, руководствуясь той же теорией, по Дарвину: ты сегодня сдохни, а ты — завтра... *)

Справедливо пишет Солженицын: «Уголовники всегда были для советской власти "социально-близкими"...» Понятно. Что власть у нас блатная (народная), что она предпочитала блатных (народ) «социально-чуждым элементам» и, глядя сквозь пальцы, случалось, потакала ворами — понятно. Ну а сами воры, спросим, испытывали ответную преданность и царили над поработенной толпой наподобие надзирателей, понукателей, рядчиков?.. Нет, конечно. В гробу они видали всю эту иерархию. У них своя забота, свой кодекс — от него мертвым холодом несет на все наши «фраерские» понятия о морали, труде, хозяйстве. Но, как водится, воры хотели жить и, прибавим, «жить не по лжи» — в соответствии со своими представлениями о правде. Это означало, помимо прочего, — не работать. Не только по естественной лени или в силу привычки паразитировать на чужом горбу и кармане, но — из принципа, по убеждению, в знак собственного достоинства.

*) В середине прошлого века, у Достоевского в каторжных записях («Сибирская тетрадь»), мы уже находим эту клейменую поговорку, получившую в новое время такую популярность: «Ты сегодня помри, а я завтра».

Глядя с крыши на картину социалистического строительства, блатной гордо пел :

*Стройка Халмер-Ю — не для меня!
На ней работать я не буду дня!..*

Вы слышите, как он якает, как самоутверждается там, где все тянут лямку (а он — не как все, он — человек!). « Пусть на них работает медведь ! » — продолжает он откровенно глумиться над начальством и отстаивать свое особое, высокое предназначение. Можно догадываться, что это не просто давалось — жить вопреки режиму, на чистой отрицаловке, опираясь на свое моральное превосходство, физическую силу, наглость, лагерный стаж и кастовую солидарность. Тут одной « социальной близостью » к власти — не обойтись...

Сколько сложено прибауток и поговорок на ту же тему (« Пусть на них работает медведь ! ») среди честных рабочих и служащих. Типа : « Гудит, как улей, родной завод, а нам-то »; « Где бы ни работать — только б не работать ! »; « Если водка мешает работе — брось работу ! » и т. п. Поговорим и разойдемся по службам, по работам. Честно и до конца в при-блатненном обществе эту идею выразили и подтвердили — блатные. Одни. Выполнили обет. Завоевали, обставили. Временно, конечно. До поры, до срока. Но сделали и спели !

*Если ж на работу мы пойдем,
То костры большие разожгем,
Раскидаем рукавицы,
Перебьем друг другу лица,
На костре все валенки пожгем...*

« Разожгем », « пожгем » — тавтология. Неумение рифмовать. Но жечь и жечь они умеют. Последнее слово нации : огнем и мечом, саранчой — пройдем (и пожрем). Кто скажет, чем кончится эта блатная экспансия на всемирно-историческом уровне?.. Нас, однако, интересуют частности — валенки (неужто пожгут?). Сиволапые мужики, удивляемся : не пустая ли это реклама, не романтика ли это вознесшегося в мечтах на морфии, на чифирé ли афериста? Нет, практика : подтверждает « Архипелаг Гулаг » — эта великая энциклопедия лагерной России. « Блатные, — говорит Солженицын, — не только не могут « увлечься азартом труда », но труд им отвратителен и они умеют это театрально выразить. Например, попав на сельхозкомандировку и вынужденные выйти за зону сгребать вику с овсом на сено, они не просто сядут отдыхать, но соберут все грабли и вилы в кучу, подожгут и у этого костра греются. (Социально-чуждый десятник ! — принимай решение...) ».

Всё правильно, складно (как в песне). Единственная загвоздка (вопрос) : а зачем « социально-чуждому » определяться в десятники и не он ли, в действительности, « социально-близок » начальству, если исходить, разумеется, не из теоретических воззрений последнего, но из самоощущения зеков разных категорий? В том-то и беда, что десятником и бригадиром на дьявольской стройке оказывался не вор, а бывало — наш брат, « фраер », « честный советский человек »*). Пусть и

*) Там же, в « Архипелаге », сказано о коммунистах, попавших в лагерь : « Вполне моральным считалось у

отверженный, «социально-чуждый» в глазах командования, сам он себя подчас таковым не считал, а лез вверх по служебной лестнице. С горькой иронией к себе и своему поколению Солженицын вспоминает, как первое время по инерции старался пристроиться в лагере на какой-нибудь руководящей работе, пользуясь армейской сноровкой. В Новом Иерусалиме, в августе 45-го, вместе с другим бывшим офицером Акимовым, его поставили сменным мастером глиняного карьера. И вот урок метящим на высокую должность :

«Как раз в эти дни из ШИзо на карьер, как на самую тяжелую работу, стали выводить штрафную бригаду — группу блатных, перед тем едва не зарезавших начальника лагеря... Ко мне в смену их привели под конец. Они легли на карьере в затишке, обнажили свои короткие руки, ноги, жирные татуированные животы, груди, и блаженно загорали после сырого подвала ШИзо. Я подошел к ним в своем военном одеянии и четко корректно предложил им приступить к работе. Солнце настроило их благодушно, поэтому они только рассмеялись и послали меня к известной матери. Я возмущился и растерялся и отошел ни с чем. В армии я бы начал с команды «Встать!» — но здесь ясно было, что если кто и встанет — то только сунуть мне нож между ребрами. Пока я ломал голову, что мне делать (ведь остальной карьер смотрел и тоже мог бросить работу), — окончилась моя смена. Только благодаря этому

них и быть нарядчиком, бригадиром, любимым погонщиком и понукателем (тут они расходятся с «честными ворами» и сходятся с «суками»).

обстоятельству я и могу сегодня писать исследование Архипелага.

Меня сменил Акимов. Блатные продолжали загорать. Он сказал им раз, второй раз крикнул командно (может быть даже: «Встать!»), третий раз пригрозил начальником — они погнались за ним. в распадае карьера свалили и ломом отбили почки. Его увезли прямо с завода в областную тюремную больницу, на этом кончилась его командная служба, а может быть и тюремный срок и сама жизнь... »

Надо пожалеть наших новичков в ложной ситуации между молотом и наковальней. Однако рисунок, набросанный Солженицыным, много сложнее в социально-психологическом смысле. Тут и расчет с былыми порывами — плодами советской школы («с тридцатых годов жесткая жизнь обтирала нас только в этом направлении: добиваться и пробиваться»), и покаянный самоанализ, и затаенная обида непризнанного капитана Красной Армии, и классовая неприязнь «честного гражданина» к закоренелым уголовникам, офицера — к темному сброду, позабывшему о дисциплине, «трудящегося» — к «буржуям», не желающим работать, разлегшимся, как на пляже, толстыми животами под солнце (хотя после сырого подвала почему бы, в самом деле, штрафникам не позагорать?)... Но легко за этой сценой представить и встречную ненависть урки к начальному фраеру, лагерному выскочке, дутому начальнику, продолжающему и под стражей, во «врагах народа», держать трудовую вахту — по заведенному (не для воров) социалистическому уставу. Не себя, а его, погонялку, они мыслят

паразитом, присосавшимся к карьеру, и доверенным властей...

Позднее, в наше время, мне и другим политическим случалось у блатных находить поддержку, интерес, понимание и неподдельное сожаление, что доброе знакомство не состоялось в прошлом. В ответ на упреки за старые надругательства, среди причин конфликта (хитрость чекистов, свой улов, воровское жлобство и проч.), высказывалось и нелестное о советской интеллигенции мнение: да какие же раньше, при Сталине, были политические?! — вчерашние комиссары, лизоблюды, придурки, кровососы с воли... Слышалась и застарелая каторжная вражда простолюдина к барину. Угодил барин в яму? — сквитаемся. Об этом рассказывал еще Достоевский в «Записках из Мертвого дома» — с болью, но без тени враждебности к своим гонителям:

« На бывших дворян в каторге вообще смотрят мрачно и неблагосклонно. ...Нет ничего труднее, как войти к народу в доверенность (и особенно к такому народу) и заслужить его любовь ».

« — Да-с, дворян они не любят... особенно политических, съест рады: немудрено-с. Во-первых, вы и народ другой, на них не похожий, а во-вторых, они все прежде были или помещичьи, или из военного звания. Сами посудите, могут ли они вас полюбить-с? »

« ...Мы принадлежали к тому же сословию, как и их бывшие господа, о которых они не могли сохранить хорошей памяти... »

Ста лет не прошло... Господа новой формации насолили и наследили, может быть, обиднее прежних. Барин-то в старые времена хотя бы не козы-

рял рабоче-крестьянской закваской, не курил фимиам равенству и братству трудящихся, был привычнее, объяснимее и в вельможной заносчивости, и в брезгливом своем кровопийстве. Новые господа вылупились из того же « народа », что и воры; но вели себя, как « суки », лицемерно, криоводушно, настырно, ненавистные вдвойне, в « социально-близкой » и вместе в « социально-чуждой » расцветке. Поди разберись, кто кому задолжал и куда клонились весы исторической немезиды. И классовая борьба, к концу 30-ых на воле, казалось бы, завершенная, с хаотической яростью запылала по лагерям. Как встречали там коммунистов сталинского призыва, — читаем у Солженицына : « Вот они, кто носил с важным видом портфели ! Вот они, кто ездил на персональных машинах ! Вот они, кто в карточное время получали из закрытых распределителей ! Вот они, кто обжирались в санаториях и блудили на курортах ! — а нас по закону "семь-восьмых" отправляли на 10 лет в лагерь за кочан капусты, за кукурузный початок. И с ненавистью им говорят : "Там, на воле, вы — нас, здесь будем мы — вас !" »

**
*

Сейчас я живу во Франции « на уголке ». Так по-домашнему, по-деревенски мы кличем ресторанчик под дряхлой вывеской « У Робера », расположенный на углу нашей милой улицы. Открыт до 2-х, до 3-х ночи. Сходняк. Толчая. Уютные французско-африканские (из Алжира что ли ?) порядки. Завсегдатаи. Таинственные свои люди. Поздно вечером, слегка поддав, кто-то, случается,

пляшет. Шлепает подошвами. « Бушмен », я думаю, перебирая дошкольную пряжу : « коричне-
вый, а не черный — бушмен ». Серый. Кожа да
кости. В чем душа держится ? Старый маленький
негр. Но чечетка — умопомрачительна. Тулуз-
Лотрек. « Шоколад ». Сгорбленный. Летают локти,
подметки. Джаз-банд разгорается. Очкарик тан-
цует даму. Рядом, как самолет в штопоре, девица
на шпильках. Д'Артаньян на каблуках. Славно.
Купаюсь.

На Багартъяновской открылась пивная...

Фольклор — заразителен : краденое счастье,
мячиком, от одного к другому. Пасовка. Народ —
езде народ. Не нарадуюсь. И сказки, и танцы, и
песни, и речь — всё свободно и безымянно пере-
дается сигнализацией и действует безотказно,
спонтанно. Не то, что у нас, писателей, будь то
Чехов или Тургенев... Не есть ли, спрашиваю
себя, вся наша литература придуманный прибавок
к фольклору ? Мы паразитируем на нем. Они тан-
цуют, поют, а мы — пишем...

*Там собиралась компания блатная,
Там были девочки — Маруся, Роза, Рая
И с ними Костя-шмаровоз.*

Негр наяривает. Ноги — как шатуны у паро-
вика. Посмотришь — и тянет туда же, в воронку.
Не умею. Да и к здешнему раздолью примешива-
ются, перебивают, догоняя, не дают договорить
— иные голоса, иные ритмы. Где он, тот, снабдив-
ший « путевкой в жизнь ? » Где Серёга ?

« Влад слышал, как они крутили его, как били

рики-фольклористы. Грозило сроком до 10 лет («антисоветская агитация и пропаганда»).

*Пишет сыночку мать :
— Милый, хороший мой,
Помни, Россия вся —
Это Концлаг большой...*

А какая там агитация?! Ни одна настоящая песня не примет этот вражий навет. Пусть таким баловством у себя большевики занимаются. Агитпроп. Партаппарат. Гулаг. Блатной же человек просто ищет выразить словами струны, мелодию, которая, однако, все равно разойдется с текстом, так что в итоге и не поймешь, о чем, собственно, поется. О наркотиках? О воровстве? Пропаганда воровства и наркотиков?..

*Ой, планичик, ты, планичик!
Ты, Божия травка!
Зачем меня мать родила?
Как планичик закуришь,
Всё горе забудешь
И снова пойдешь воровать...*

Поется, между прочим, на грустный-грустный мотив. Ничего себе «горе забудешь»! Плачешь. Мечтательство. Существенности нет. Отсутствие смысла. Пустой звук один. Дымок из козьей ножки. А ведь тоже мать родила. Как всех. Зачем спрашивается? Курить-воровать? (почему-то это связано)? Ответ, Божия травка. Опиум для народа. Разрыв-травка. Ты виновата. Ты одна во спасение нам (...« всё упование на тя »... « прежде век преднареченная Матерь »). А всё из-за нее, из-за

тебя, мать — божия травка... Зачем? Ради чего? За что?.. (« Моли Бога за нас... »)

Никакой другой народ, как русский, не задается так настойчиво и нелепо отвлеченным вопросом: зачем? Для того ведь и революцию сделали. И мировую тюрьму строим. Зачем меня мать родила? Зачем солнце светит, люди живут? Зачем — всё?.. Ответ (эхо): « вотще ». А всё не унимаемся... Это как песни о свободе в застенке. О побеге. Зачем? Что за притча? Известно же: тюрьмы вору не миновать. Да и на свободе не такое уж раздолье. И все-таки, окунаясь в песню, как в собственное родовое бессмертие, повторяем с надеждой, словно возможен какой-то иной исход:

*Это было весной, в зеленеющем мае,
Когда тундра проснулась...*

Много вариантов. А сводятся к одному маршруту: тюрьма — свобода, свобода — тюрьма. По кругу (по тундре). Сюжет вращается, не давая освобождения, никогда не кончаясь. Но сколько перипетий вы успеете пережить, следуя по заведенной стезе, знающей лишь два направления — туда и обратно...

Достоевский писал, вспоминая о каторге: « ...Вследствие мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у нас в остроге как-то свободнее настоящей свободы, то есть той, которая есть в самом деле, в действительности ».

Естественно, арестант переоценивает свободу, пускай и знает наперед (бежал, освободился не раз и вновь, тоскуя, лез в тенета), какова она из себя в обыденной скаредной жизни. И все-таки, преувеличивая, он в ней не ошибается, но пости-

гает, не побоюсь сказать, ее подлинную, трансцендентную стоимость, о чем другие люди и понятия не имеют. Она «свободнее настоящей свободы», свободнее, нежели мы, привыкнув к ней, как к воздуху, можем рассуждать и догадываться. Как тот же воздух становится поистине воздухом для больного туберкулезом, а вода — водой для того, кто жаждет. В тюремном квадратике, сквозь решетку, небо, говорят, голубее : а значит оно — реальнее затрапезных небес. Может быть, только там оно и реально (и в этом значение, в частности, блатной песни)...

*Попробую, братишечки, еще раз оборваться,
Выйти на волю погулять.
Встречу я там Муру — стройную фигуру,
И будем фразеров с ней штурмовать.*

*Скоро я надену ту майку голубую,
Скоро я надену брюки-клёш.
Две пути-дороженьки — выбирай любую...
А всё же ты, братишка, не уйдешь!*

Не уйдет далеко. Нет выбора. Слышу : « Опять он за свое ! в крытку его ! в закрытку ! Не успел добраться и туда же, скот, — штурмовать ! Ведь снова поймают ! »... Всё правильно. Поймают (на то и бежит). Но как же иначе вобрать и вообразить — свободу ? Свобода — необъятна, непередаваема в сияющей реальности и, значит, ищет каких-то очень широких, могучих и точных определений. Здесь они даны. Видим два оборота, два ее образа (выбирайте любую дорогу, и все они сойдутся за проволокой, откуда и доносится голос). Величайшие координаты : *разбой* (в сочетании с

фигурой прекрасной незнакомки еще более завлекательный) и — « голубая майка » (? !).

Кто-то, помнится, в революционном восторге призывал « штурмовать небеса ». (« Свобода, бля, свобода, бля, свобода... »). Не лучше ли « штурмовать ффаеров » ? По крайней мере — нагляднее как художественный прием. Но вот беда (выясняется) : свобода — агрессивна. Всегда она стремится к чему-то недоступному и рвется напролом, на штурм последних крепостей и запреток. В поэтическом языке это великолепно : гиперболы, агрессивная образность, всплеск эмоций... В жизни — пожары, погромы, убийства, изнасилования... Аврал, авария — и назад, в лагерь. Свобода влечет агрессию в любой форме как собственное свое беспредельное и беспредметное продолжение. Не потому ли всех нас на свете и держат в застенке ? До срока, до выхода из тела мы так и не узнаем, какова же свобода в полном своем объеме, в истинном виде. Лишь вспоминаем и радуемся : « Скоро я надену » и т. п. Ведь у каждого из нас, господа, хотя бы в детстве, во сне, была голубая майка. Клочок неба дивной голубизны... Оденемся и — в побег (воровать и резать) !

*Рано утром проснешься и раскроешь газету,
И на первой странице — золотые слова :
Это Клим Ворошилов даровал нам свободу,
И теперь на свободе будем мы воровать...*

Амнистии не будет — не бойтесь. Действительность немилосердна. Смерклось. Одно остается :

*Квадратик неба синего, и звездочка вдали
Сияет мне, как слабая надежда...*

Это — перед расстрелом. Пора уходить с « уголка ». Я знаю. Но сижу в растерянности, перебирая в уме запятые, доставшиеся в наследство по воровской цепочке. Да. Что поделаешь ! Начав с запретных путей, я и кончу тем же. В противном случае незачем писать. Не интересно. Мы сойдем со сцены. — Генка Тёмин, Мишка Кóнухов (о, как он пел « Пацанку » !), мужественный Коля Николаенко и я меж ними, грешной тенью. Нелегкое это дело на прощание созвать гостей, если тот уже в крытке, другой неизвестно где, а третий попал под колеса, не доехав по назначению до нового надзора. Должно быть, его скинуло с поезда : он имел обыкновение, путешествуя по стране, горланить песни с крыши вагона... А в свое время как было весело, когда мы сходились вместе !

*Абрашка Терц собрал большие деньги,
Таких он денег сроду не видал,
На эти деньги он справил именинки
По тем годкам, которые он знал.*

*Купил он водки, водки и селедки,
Созвал гостей и сам напился пьян,
И кто с гитарой, кто с пустой рукою...*

— Не плачь ! — говорю я себе. Они еще вернутся, твои друзья. Съедутся. Помнишь, как писал в письмах жене — всегда одно и то же :

*... Еще прошу : сходи вечер к Егорке,
Он мне остался должен шесть рублей :
На два рубля купи ты мне махорки,
На остальное черных сухарей.*

*Привет из дальних лагерей,
От всех товарищей-друзей,
Целую крепко, крепко.
Твой Андрей.*

Сколько их там сейчас, твоих друзей-товарищей! Всех увидишь. А не увидишь, так услышишь...

Абрам Терц - Синявский, Андрей Донатович — родился в 1925 году в Москве. Окончил Московский университет. Кандидат филологических наук. Работал в Институте мировой литературы АН СССР. Печатался в журнале «Новый мир». С 1955-го года под именем Абрама Терца начинает писать и печататься за границей. В 1965 году исключен из Союза писателей, арестован и осужден. Шесть лет провел в Мордовских лагерях строгого режима. Работал грузчиком. В 1973 году выехал во Францию.

Группа бывших советских политзаключенных подготавливает к изданию сборник лагерной поэзии. Сборник будет составлен из произведений, написанных в советских тюрьмах и лагерях с начала советского режима и до наших дней (включая лагерный фольклор).

Составители хотели бы избежать зависимости от будущего издательства. Поэтому решено издавать сборник на собственные средства, по-братски скинувшись.

Шлите, пожалуйста, стихи, фамилии и адреса людей на Западе и в СССР, которые могли бы помочь нам; а также посильную денежную помощь по адресу:

Dunaevsky Valéry,

8/14 Ezel Str., Givat Zarfatit, JERUSALEM, Israël.

ФЕНОМЕН ГЛАЗУНОВА

Не стоило бы писать о художнике Илье Глазунове, если бы не два момента.

Во-первых, это уже целая легенда, сложившаяся вокруг его личности как в СССР, так и за рубежом. Эпитеты «неофициальный», «оппозиционный», «подпольный», «гонимый» прочно прилепились к имени художника на страницах зарубежной прессы, а одновременно Илья Глазунов — создатель галереи портретов советской верхушки, завершающейся образом самого Л. Брежнева. С одной стороны, он апостол национального и религиозного возрождения, чуть ли не духовный близнец Солженицына, а с другой, — постоянный вояжер по заграницам, корреспондент «Комсомольской правды» во Вьетнаме, личный друг покойного чилийского президента Алиенде. Год назад журнал «Ньюсвик» опубликовал о нем статью с характерным названием: «Непокорный русский художник». «Леонид Брежнев, король Швеции и актриса Джина Лоллобриджида имеют между собой нечто общее: всех их отпортретировал Илья Глазунов», — пишут авторы этой статьи, и продолжают: «Его успех в верхах сделал его привилегированным гражданином. Столовая в его московской квартире забита французской мебелью стиля Империи и портретами царей; его двухэтажная мастерская достаточно объемна, чтобы вместить в себя три тысячи картин и часть старой деревянной избы» 1). Американский журналист Баррон в своей недавно опубликованной книге

« КГБ » трактует эти привилегии как награду за то, что Глазунов « доносил на советских интеллигентов и иностранцев », однако в защиту Глазунова подняли свой голос зарубежные « Российское национальное объединение » и монархический журнал « Часовой », объявив его мучеником за « русскую идею ».

Такой же густой атмосферой идеологической мистики и политического детектива окутан и творческий путь Глазунова. Взгляд на его творчество может подвести нас ко второму моменту — к тому, что превращает этого, в меру заурядного, но не в меру бойкого художника в своего рода « культурный феномен », оказавшийся в центре внимания разгоревшегося сейчас « спора о России ».

Спор этот давний и разветвленный, то принимавший форму философско-литературной полемики между западниками и славянофилами, то, будучи переведенным на язык политики, воплощавшийся в партийные постановления против « великорусского шовинизма » или « безродного космополитизма ». На современном этапе он выглядит несколько иначе. Суть этого спора — в его полемических крайностях — сводится, по сути, к одному главному вопросу: является ли тот мóрок, в который вот уже 60 лет погружена страна, прямым следствием определенных черт русского характера, специфики истории страны, или это есть нечто чуждое для России, привнесенное сюда извне — с Запада? Обращенный к сфере культуры, спор этот ведется примерно в той же плоскости: является ли идеология и язык советского искусства продолжением национальной ху-

дожественной традиции, или коммунистический режим заимствовал то и другое из движения модернизма, начавшего складываться в Европе в конце прошлого столетия? И — как следствие из всего этого: должно ли русское искусство идти общим путем, или ему следует наконец преодолеть ренессансный индивидуализм и европейский модернизм и вернуться к иконной соборности 2). В этом бессмысленном споре искусство Глазунова начинает выполнять функцию главного идеологического аргумента, ибо оно как бы намечает выход из логического тупика, указывает на видимость пути, на который якобы уже встала русская художественная культура и который вернет ее в лоно национальной самобытности. Все это позволяет говорить о « феномене Глазунова » — явлении странном, возникшем в атмосфере культурного вакуума и идеологического конформизма, питаемого в одинаковой степени и идеалистической ностальгией по прошлому, и вполне материальными расчетами на будущее, явлении, невозможном в условиях нормального общества.

Впервые имя Глазунова прогремело в 1957 году, когда в Москве, в Центральном доме работников Искусства, неожиданно открылась выставка этого никому не известного художника, тогда еще студента Института им. Репина при Академии художеств в Ленинграде. В переполненных восторженной толпой залах ЦДРИ висели его иллюстрации к Достоевскому, пейзажи, фигурные композиции... Главным образом графика, меньше живописи. Некоторая вольность обращения с формой была по тем временам необычной, и все это в первый момент казалось ярким и самобытным. Но

только в первый момент. Ибо очень скоро в процессе рассмотрения этих вещей возникало ощущение чего-то уже виденного, пока сквозь внешнюю броскость формы не начинали явно просвечивать давно знакомые (главным образом по репродукциям в старых журналах) образцы. Так, тема его графической серии « Ленинградская блокада », казалось бы, должна была быть биографически пережитой художником, однако в ее художественном воплощении трудно найти что-либо, напоминающее личный подход, индивидуальную авторскую интонацию. Педалированная игра контрастов, броский штрих, повышенная экспрессия изможденных лиц детей и старух — все это до мельчайших деталей напоминало отдельные листы из « Восстания ткачей » Кете Кольвиц, сделанные в 1897 году. Другой круг ранних работ Глазунова тоже был связан с личной темой — непарадная изнанка Ленинграда (или Петербурга) : глухие громады домов, графический узор брусчатки в свете белых ночей, отражения в каналах и человек — маленький и одинокий в этом городе-призраке, городе-спруте, городе-позме. Все это было бы очень хорошо, если бы не было уже изображено за 50 лет до Глазунова такими художниками, как Добужинский, А. Бенуа, Лансере... В некоторых случаях сходство с оригиналами было настолько близким, что художника можно было бы заподозрить в плагиате.

Если говорить о стилистических истоках творчества Глазунова, то таковыми были для него в первую очередь работы « Мира искусства » — движения, возникшего в России в конце прошлого века как реакция на национальную замкнутость

и эстетический консерватизм передвижников и ставившего своей целью « перебросить мосты из России в Европу ». Ни о какой « русской идее » в раннем творчестве Глазунова не могло быть и речи : в сознании того поколения были еще слишком живы вакханалия сталинского патриотизма и образ « России — родины слонов ». На подобные идеи публика бы не клюнула. Вспомним, что по тем временам художники « Мира искусства » безоговорочно котировались как представители « реакционного западного модернизма » и их произведения уже четверть века пылились в музейных запасниках, скрытые даже от специалистов. Не удивительно, что подражание этим образцам публика приветствовала тогда как рождение нового искусства. Именно эта, неведомо кем санкционированная, выставка и положила начало легенде о Глазунове как о художнике-новаторе, оппозиционере и непризнанном гении.

Советская художественная администрация прореагировала на выставку соответственно, но не слишком сурово : его обвинили в модернизме и поставили тройку на выпускном экзамене. Однако звезда Ильи Глазунова не закатилась.

В начале 1963 года, вскоре после хрущевского погрома в московском Манеже молодых художников-нонконформистов, ставших отныне жупелом западного модернизма (мирискусники были к тому времени, хоть и посмертно, но все же частично реабилитированы), Глазунов появляется в Италии, где открывает свою большую персональную выставку. В своих интервью западной прессе Глазунов заявляет, что он не поклонник модернизма, более того, он противник его бездуховно-

сти, но в то же время он борется со сталинским натурализмом за возрождение истинно национальных, русских культурных ценностей. Глазунов выбрал очень удачное время для подобного рода заявлений: левая и просоветская пресса подхватила его высказывания, позволявшие сделать вид, что в Советском Союзе происходит обычная дискуссия по вопросам искусства в рамках свободного обмена мнениями и что художники-диссиденты никак не ущемляются в своих правах — они могут даже разъезжать по заграницам и устраивать здесь свои выставки. Легенда о Глазунове — оппозиционере становится популярной и в левых западных кругах.

По не очень странному стечению обстоятельств, через год (в июле 1964) в Московском Манеже, где еще недавно Хрущев оплеывал Р. Фалька, Э. Неизвестного и прочих модернистов — старых и молодых, открывается огромная персональная выставка Ильи Глазунова. Случай этот беспрецедентен: даже самые великие соцреалисты не удостоивались такой чести, в том числе и учитель Глазунова — тогдашний президент Академии художеств СССР Б. Иогансон. Выставка эта отличалась от предыдущей, но содержание ее тоже было необычным. В Манеже, в центре советского официоза, смотрели со стен стилизованные лики святых, сияли сусальным золотом купола церквей, парила в пространстве голова убиенного царевича Дмитрия. Но гвоздем выставки были большие броско написанные портреты: элегантные дамы чуть удлиненных пропорций с преувеличенно огромными, чуть ли не в полщеки, глазами поражали воображение зрителей лихостью живо-

писной манеры и внешней одухотворенностью. Особенно эти глаза, почти без изменений переходящие из портрета в портрет и своей множественностью создающие почти гипнотический эффект. Другой круг работ Глазунова был связан с исторической темой, темой родины, народа, патриотизма: древнерусские витязи, князья, воины, бояре, татары... И хотя и здесь автор не обходился без живописных излишеств и элементов церковного реквизита, эти работы как-то странно напоминали ура-патриотические полотна сталинского времени, проповедующие величие, могущество и приоритет социалистической родины во всех областях человеческой деятельности. Здесь же висели и работы на вполне ортодоксальные темы — дань официозу (то ли Ленин в ссылке, то ли комсомольцы на стройке — я уже не припомню).

Через три дня выставка была закрыта. Возмущенные зрители устроили сидячую забастовку у здания Манежа. По чьему указанию была открыта эта странная выставка и кто приказал закрыть ее раньше времени — все это остается во тьме неизвестности 3). Во всяком случае репутация Глазунова как художника, с одной стороны, гонимого, а с другой, великого — окончательно укрепилась. А еще через год-два, после долгого сопротивления относительно либерального тогда Московского отделения Союза художников, его приняли в члены этой организации.

К этому времени Глазунов созрел как художник. Где-то в 1962-63 годах у него появляется « русская тема », и с тех пор его творческое лицо определяется, чтобы уже не меняться до середины 70-х годов. Всю созданную им за этот период

весьма обширную художественную продукцию можно условно разбить на несколько групп.

Продолжается тема Петербурга. Иногда она обогащается римскими мостами или французскими замками, иногда городской пейзаж становится фоном иллюстраций. Но ни графическая стилистика, ни эмоциональный образ листов Глазунова от этого не меняются. Здесь образцом для него продолжает оставаться Добужинский и другие художники «Мира искусства», к видению которых Глазунов не прибавляет ни грана нового, значительно уступая им по мастерству.

Портреты. Диапазон их огромен: от Сергея Михалкова до Федерико Феллини и от знатной колхозницы Пелагеи Ковровой до Марии Казарес. Владимир Осипов в своей восторженной статье о Глазунове описывает, как тот во время Московского кинофестиваля 1961 года делал портреты итальянских кинозвезд: «Но окончательно европейцы были сражены, как только Илья стал рисовать. За два часа готовы четыре портрета. Портрет Джинны сделан за 20 минут. Потрясенные, они пригласили его в Италию» 4). Действительно, умение быстро схватить портретное сходство и вставить его в тот или иной эстетический стереотип (лирический, драматический, салонный или парадный) свойственно бойкой кисти Глазунова. Но особенно потрясаться европейцам все же не следовало бы. Каждый вечер в Лондоне на Трафальгар-сквер (на Монмартре в Париже, на площади Испании в Риме...) выносят свои мольберты художники и предлагают прохожим за несколько минут изготовить их портреты. Конечно, кино-

звезды сюда не ходят, а жаль: это обошлось бы дешевле, а эффект был бы тот же самый.

Иллюстрации. Часто они служат Глазунову камуфляжем, который дает ему возможность протащить через цензуру полузапретный церковный антураж. Выделить их из общего корпуса его работ очень трудно, потому что описательная иллюстративность — главное свойство художника, проявляющееся во всем, что выходит из-под его кисти или пера. Но в иллюстрациях к русской классике особенно четко выступает и еще одно свойство Глазунова: отсутствие собственного художественного видения, заштампованность сознания усредненными клише русской и советской реалистической графики. Иногда, правда, к этим клише прибавляются и «смелые» заимствования из арсенала советской кинематографии: народный артист СССР Б. Черкасов в роли Ивана Грозного из второй части Эйзенштейновского фильма (иллюстрация к роману А.К. Толстого «Князь Серебряный», 1969 г.), артист Яковлев в роли князя Мышкина из пьрьевского «Идиота» (иллюстрация 1956 г. к «Идиоту» Достоевского) и т. п.

Россия, вернее — Русь. С 1963 года эта тема стала для Глазунова главной, ее трактовка и определяет в конечном итоге характер того, что можно назвать «феноменом Глазунова». Надо отдать должное Глазунову: он был первым из художников его поколения, кто понял притягательную для сердца русского человека силу этой темы, находящейся в загоне со времен помпезных исторических композиций сталинских лауреатов, кто несколько сместил ось ее содержания с казенного патриотизма в сторону православной народности,

кто сумел протащить ее в залы официальных выставочных помещений (впрочем, кажется, пока что этой привилегией пользуется лишь он один). Все это, может быть, и позволяет говорить о Глазунове как о русском патриоте, но патриотизм сам по себе, точно так же как и любая гражданская добродетель, еще не делает человека художником. Чтобы стать таковым, необходимо прежде всего найти собственные форму и стиль, выражающие небанальное мироощущение (если таковое имеется). Однако способность творить новую форму не входит в число талантов Глазунова. Стилистический диапазон, в котором он решает «русскую тему», довольно широк, но не выходит за рамки все тех же готовых образцов и шаблонов. Здесь и мягкий лиризм ранних Нестерова и Кустодиева с их реалистическими березками, просторами, скитами, странниками и куполами церквей (у Глазунова все это превращается либо в реалистический этюд, либо в умильно-сентиментальную аллегорию), и рериховская почти орнаментальная стилизация, и монументальная иконность Павла Корина. Целый круг его работ можно отнести к тому, что сейчас на Западе называется «кич» — т. е. продукция, рассчитанная на массового потребителя, стоящего по своим вкусам ниже всяких существующих культурных стандартов или просто не принимающего для себя таковых (нечто вроде стародавних базарных ковриков с лебедями и красотками). Типичный пример: серия «русских красавиц» Глазунова — в тщательно выписанных жемчугах и кокошниках, позлащенных и посеребренных, на фоне куполов, теремов и икон. Элементы кича можно обнаружить и во многих исто-

рических и религиозных полотнах художника. От стилизаций обычного (скажем, кустодиевского) типа их отличает многозначительность и убежденность автора в подлинной красоте его моделей (или материалов — золота, жемчуга, серебра), которые достаточно пересадить на полотно, чтобы создать произведение искусства. Впрочем, в серьезности Глазунова в данном случае можно усомниться; скорее это просто экзотические подделки для иностранцев, пользующиеся на западном рынке относительным спросом вместе с лаптями, самоварами и балалайками.

Наконец — советский официоз. Им Глазунов, как и некоторые вполне официальные советские поэты, балансирует свои эстетические оппозиции. « В самом начале творческого пути Глазунов обратился к ленинской теме. Еще студентом он пишет работу « Возвращение В.И. Ленина в Петроград ». Портрет В.И. Ленина работы Глазунова находится в Государственном музее Революции. Однако и сейчас художник продолжает работать над образом вождя, стремясь воплотить в портрете все многообразие гения Владимира Ильича Ленина » 5). Время от времени он отправляется в творческие командировки — то в среднеазиатские колхозы, то на строительства ГЭС — и, одновременно с потусторонними ликами Сергия Радонежского и царевича Димитрия, создает галереи вполне соцреалистических образов знатных хлопкоробов и электросварщиков. В 1967 г. Глазунов в качестве корреспондента « Комсомольской правды » отправляется в Северный Вьетнам. Его путевые зарисовки и станковые работы не хуже и не луч-

ше бесчисленных аналогичных серий Горяева, Оссовского и прочих.

Пожалуй, в этот круг тем, образов, стилистических приемов и вписывается весь корпус работ Глазунова, сделанных до середины 70-х годов.

В головокружительной творческой карьере Глазунова — от тройки на выпускном экзамене до портретиста Брежнева и шведского короля — есть одна любопытная деталь. О нем много писали в советской прессе, причем гораздо больше в восторженно-поощрительном, чем в критическом тоне. Писала «Вечерняя Москва» и журнал «Огонек», писали инженеры, физики, писатели, генералы. Но никогда ни в одном специальном журнале — ни в официозном «Искусстве», ни в более либеральном «Творчестве» — ни один серьезный критик-искусствовед не упомянул его имени в положительном контексте. Точно так же обстоит дело и среди зарубежных ценителей Глазунова, на которых любят ссылаться его защитники. Здесь и Индира Ганди, и итальянские кинозвезды, и правитель Лаоса, и жены различных премьеров, канцлеров, президентов... из людей же причастных к искусству обычно упоминаются лишь некто Паоло Риччи, издавший о нем монографию в Италии, и друг Глазунова покойный Альфаро Сикейрос — пламенный борец за свободу, носившийся в последние годы жизни с идеей расписать фресками поверхность Берлинской стены. И дело на этот раз отнюдь не в профессиональной зависти и не в заговоре молчания, как это утверждают те же поклонники художника. Просто для любого специалиста-профессионала «ценность» его творчества не вызывает сомнений. Это набивший руку

на заказах (неважно, идут ли они от Министерства культуры или от дипломатических дам), умело пользующийся штампами ремесленник, имитирующий стили, мало знакомые широкой публике, и играющий на темах, не поощряемых в данный момент советскими властями. Если созданное им требует какого-то названия, то это все тот же социалистический реализм, только густо припудренный салоном. Салон всегда пользовался популярностью у широкой публики. Он пользуется спросом и на Западе. Здесь в цене глазуновские национальные кичи и стилизации под древнерусские образцы, мало известные западной публике. Кто-то даже назвал его наследником Андрея Рублева.

Года три назад Глазунов решил расширить диапазон своего творчества. Его потянуло на решение мировых проблем — к полотнам эпическим, идеологическим и даже философским. В прошлом году он ввез в ФРГ (или — по другим сведениям — сделал там и вывез обратно) огромное — 3 на 6 метров — полотно «Мистерия XX века», где изобразил в числе персонажей Ленина, Николая Второго, Троцкого, Сталина, Мао, Христа, Солженицына, Черчилля, Эйнштейна и многих других. По приезду в Москву Глазунов заявил, что откажется от своей персональной выставки, если туда не будет включен его новый шедевр — плод его десятилетних раздумий. Часть зарубежной прессы расценила этот факт как новое гонение на талантливого художника; скептики же ломали головы, зачем понадобился Глазунову этот новый ажиотаж вокруг его имени и на какую еще ступень профессиональной карьеры он его занесет. Но

вскоре туман рассеялся: Глазунов выступил с новым заявлением, в котором обвинил западную прессу в искажении его слов, и вскоре, 2 июня 1978 года, в Москве (и опять в Манеже!) с помпой открылась выставка его произведений.

« Мистерия XX века » на ней, естественно, отсутствовала. Зато, кажется, центральное место занимало его полотно « Возвращение блудного сына ». Сопоставление этих двух произведений может пролить свет на развитие « русской идеи » в том виде, в каком она преломилась на последнем этапе творчества Глазунова.

Как пишут сторонники Глазунова, в « Мистерии XX века » « художник распахивает занавес и как бы приглашает зрителя взглянуть на мир, в котором он жил и живет » 6). Мир этот погружен в апокалиптический мрак, в нем царствуют кумиры западной цивилизации (откровенно показывает публике язык Альберт Эйнштейн, кривляется на подмостках Чарли Чаплин), политические демагоги, лже-пророки, бездуховные модернисты... враги народа... наймиты атеизма... ненавистники России... Когда пытаешься анализировать содержание этой картины, неизбежно скатываешься в засасывающую муть советских идеологических клише и истерических лозунгов, где переставлены лишь некоторые акценты, где лишь отдельные слова заменены другими, отчего суть не меняется.

В « Возвращении блудного сына » упор делается на положительный идеал. На первом плане картины — жирные свиньи в грязи, современный небоскреб и данный в суженной перспективе стол-конвейер, на котором среди пиршественных остатков распростерто тело человека (деталь, заимство-

ванная из фрески Сикейроса). Это — все тот же современный мир, растленный духовно и погрязший в скотстве. На заднем плане — покривившиеся избы и церковные купола. А в центре — голый человек в джинсах припадает к руке Доброго Пастыря в развевающемся плаще Георгия Победоносца. За ними — в верхнем левом углу картины — застыли в иератической неподвижности строгие лики деятелей российской государственности, науки и литературы. Говорить об «иконности» подобных композиций Глазунова можно только в смысле иконизации определенных идей и персонажей, что, впрочем, является устойчивой традицией советского искусства на протяжении всех 60-ти лет его развития; только вместо ликов Маркса, Ленина, Сталина нам предлагаются новые святые: Петр Первый, Сергей Радонежский, Суворов, Пушкин, Есенин, нисходящие как свет с Фавора во искупление грехов и во спасение нашей прогнившей по всем направлениям цивилизации.

Смысл этих идеологических аллегорий довольно прозрачен. Московский священник Дмитрий Дудко выразил всеобщий энтузиазм по поводу последней выставки, процитировав: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» 7). Русью у Глазунова действительно пахнет, но пахнет скверно: ненавистью ко всему чужеземному и шовинистическим чадом, казалось бы, канувших в лету полотен сталинских лауреатов: А. Герасимова, Авилова. Бубнова...; здесь действительно пенится и бурлит современная Россия, но Россия, от комплекса социальной неполноценности впадающая в грех национальной гордыни. В этом, быть может, и

закключается « феномен Глазунова » — в застарелом инстинкте списать все « грехи нашей родины вечной » на шпионов, диверсантов, троцкистов, евреев и — вот теперь — на язвы и пороки западной цивилизации, разъедающие тело святой Руси. Однако эти стороны « феномена Глазунова » выходят за рамки художественного рассмотрения и сферы компетенции автора данной статьи.

Если же рассматривать этот феномен в контексте развития русской художественной культуры, то он вполне вписывается в причудливый рисунок ее эволюции : циклы размыкания русской культуры, ее обращенности к Западу, ее понимания себя как части европейского целого, чередуются с циклами ее замыкания на самой себе, ее противопоставления себя всей прочей человеческой культуре. Так, с середины прошлого столетия передвижники замкнули русское искусство кругом национальных проблем; следующее поколение — художники « Мира искусства » (первые учителя Глазунова) — обратили свои взоры на Запад, и этот процесс в конце концов привел к безудержному интернационализму русского авангарда 10-20 годов; далее, сталинские соцреалисты Китайской Стеной и Железным Занавесом отгородили страну от всех и всяческих иноземных влияний; наконец, на выжженной почве русской культуры начинают появляться ростки свободного творчества, распутившиеся за последние двадцать лет в мощное движение неофициального искусства. Представители последнего стремились восстановить разорванные связи и черпать из всей сокровищницы мировой культуры. Оппозиция Глазунова направлена не столько против и так

уже достаточно одряхлевшего социалистического натурализма, сколько против этих тенденций к освобождению новой складывающейся культуры России. « В то время как его коллеги по кисти и собраты по перу, устремляясь к « вершинам современности », опаивали себя Кафкой и млели перед размалевками досужего Пикассо, закусившего удила в своем беге от национального, Илья Глазунов заговорил о России и заставил себя слушать » 8). Так воспринял творчество Глазунова другой сторонник « русской идеи » В. Осипов; примерно так же — и в этом состоит злобещий парадокс современной российской ситуации — воспринимают его и советские официальные круги, обрекшие на 8 лет лагерей Владимира Осипова и дающие зеленую улицу продукции Ильи Глазунова. На это противопоставление себя неофициальной художественной культуре делает ставку и сам Глазунов. От космополитической безродности западной культуры он предлагает вернуться к народу, к крови, к почве; от ее формалистических выкрутасов — к простому, понятному широким народным массам языку, перекраивая по ходу дела на новый лад старые лозунги сталинских времен. Этим и объясняются (если иметь в виду исключительно художественный аспект данной проблемы) официальная поддержка и раздувание его репутации.

Народность, почвенничество, национализм... Об этом прекрасно писала Надежда Яковлевна Мандельштам: « "Мир искусства" и "Бубновый валет" в живописи — время собирания сил, период ученичества у Запада, когда много способных людей овладевало первоначальными навыками бла-

городного ремесла, сдабривая их элементами примитивного русизма, жалкими националистическими тенденциями, которые никогда не вылезают на первый план во время настоящего расцвета живописи. Сезанн ничуть не заботился о том, чтобы снабдить свои работы специфически французскими чертами. В русской иконе и у Рублева есть черты великих европейских традиций, сквозь которые пробивается земля, человек Руси. Почвенность, национализм — низовая прокладка сознания. Когда они выходят на первый план, затемняя основы, это признак болезни, а не здоровья, мелкости, а не глубины » 9).

В XX веке движения за создание национальной самобытной культуры обычно сопровождают борьбу за политическое самоопределение зависимых, отсталых, слаборазвитых стран. Стремясь к независимости, эти народы и страны противопоставляют одряхлевшей культуре западного (или американского) толка здоровые национальные силы и неисчерпанные потенции, коренящиеся в прерванной когда-то древней традиции, и от современного модернизма обращаются к идолам, пирамидам, фараонам, иконам. Такого рода движение, черпая свою энергию из преходящих лозунгов политической борьбы, может дать кратковременный всплеск, но, как правило, скоро становится явлением периферийным не только для мировой культуры, но даже для искусства самих этих стран, потому что современное искусство в целом в своем « безродном бегстве от национального » обращается к тем же самым истокам, делая их интегральной частью самого себя (вспомним хотя бы « африканский период » творчества Пи-

кассо или влияние русской иконы на Матисса). Такой стремительный взлет и столь же быстрый упадок пережила, например, мексиканская школа монументальной живописи в начале 20-х годов, движение «индигениста» в Бразилии и некоторых других странах Латинской Америки. А в наши дни аналогичные движения наблюдаются среди так называемых прогрессивных художников новых арабских и африканских государств, возникающих сейчас как грибы после дождя.

Этой исторической справкой можно закончить статью о « феномене Глазунова », которую лучше было бы и не начинать.

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Newsweek, June 6, 1977, p. 10

2) См. об этом, например: Б. Михайлов, « Искусство Агитпропа ». — Вестник русского христианского движения, № 125, 2 - 1978, стр. 214-231.

3) На однажды высказанное мною (отнюдь не для печати) мнение о том, что эта выставка (как и предыдущая) была санкционирована какими-то высшими силами стоящими вне и над художественной жизнью страны, мне ответили суровой отповедью: « Надо думать, что это — те силы, в существование которых Голомшток не верит, сила русского национального самосознания, сила художника будить это самосознание в душах широких сфер публики, несведущих в вопросах искусства; вечная сила России » (« Русская идея или КГБ ? », издание журнала « Часовой », стр. 67). Что же, редакция « Часового » действительно думает, что выставки в СССР открываются волей « широкой публики », в которой проснулось национальное самосознание? Или они свято уверовали в существование в советских верхах неких либеральных покровителей движения духовного возрождения и православия? Удивительно, как устойчива у сторонников « русской идеи » вера в « доброго русского царя », пусть даже и советского

4) Журнал « Вече », № 6. Цит. по « Архиву самиздата », № 1599, стр. 166.

5) И. Языкова. Илья Глазунов. Москва, издательство « Изобразительное искусство », 1973. (В этой странной монографии, наполненной описаниями сюжетов картин Глазунова и бессмысленным набором советских штампов, страницы почему-то не пронумерованы).

6) « Русская идея или КГБ ? », стр. 80.

7) « Русская мысль », 24 августа 1978.

8) « Архив самиздата », № 1599, стр. 161.

9) Н. Манделъштам Вторая книга, УМСА-Press 1972, стр. 44

Голомшток, Игорь Наумович — родился в 1929 году Окончил отделение истории искусств Московского университета. Работал старшим научным сотрудником Музея изобразительных искусств в Москве. Преподавал в МГУ. работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики. Состоял членом Союза советских художников. Автор ряда книг и монографий по вопросам истории и теории западноевропейского искусства С 1972 года проживает в Англии

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Если кому-нибудь что-то известно о попавших на Запад первых четырех номерах журнала « ПОИСКИ » (Москва, Самиздат, 1978), — просим сообщить об этом или переслать материалы по нашему адресу.

« Синтаксис ».

Виктория Швейцер

БРАТСКАЯ МОГИЛА

Начну с истории, на первый взгляд, совсем незначительной. Как-то давно, читая «Нездешний вечер» Цветаевой, посвященный замечательному поэту Михаилу Кузмину, я вспомнила о его дневниках. Кузмин вел дневник, ежедневно записывая туда все, что считал нужным, о своей интимной и внешней жизни. Один из близких к Кузмину в последние его годы людей говорил мне, что Михаил Алексеевич любил иногда читать им, молодым, записи из своего дневника...

Я захотела взять этот дневник в архиве, чтобы посмотреть: может быть, Кузмин, тогда уже мэтр, как-то отметил встречу с только появившейся на литературном горизонте Цветаевой, встречу, так душераздирающе описанную ею в «Нездешнем вечере».

Многотомные дневники Кузмина хранятся в Москве в ЦГАЛИ (Центральный Государственный Архив Литературы и Искусства, одно из главных советских хранилищ подобного рода). Они пронумерованы, слегка аннотированы и внесены в опись довольно обширного фонда Кузмина — всё честь-честью. Я выписала два тома: тот, где записи начала января 1916 г. — времени «нездешнего

вечера », и тот, в котором лето-осень 1921 г., когда Цветаева написала приводимое ею в очерке письмо Кузмину. Я уже строила планы, как сравню две записи об одном вечере, об одних людях таких несхожих поэтов — Цветаевой и Кузмина; как узнаю от самого Кузмина о впечатлении, произведенном на него стихами Цветаевой и ее чтением...

Получаю отказ : дневники Кузмина не выдаются, они на « спецхране ». Для меня же « спецхран » недоступен : то, что находится на « специальном хранении », выдается по специальному разрешению, а чтобы получить таковое, нужно ходатайство со специальными подписями и печатями, которые мне, к тому времени уволенной с работы, взять негде. Редактор одного из московских журналов, мой благодетель, который раз в год дает мне « отношение » в ЦГАЛИ, каждый раз начинает разговор словами « только не в спецхран ». И я с радостью соглашаюсь : конечно, не в спецхран. Надо сознаться, что я и сама боюсь этого « хранения », как боюсь долгие годы всего официального : домоуправления, врача в районной поликлинике, школьную учительницу моей дочки, даже доброжелательных ко мне женщин из читального зала ЦГАЛИ — не говоря уж об участковом милиционере. Я не делаю ничего предосудительного, но мне почему-то кажется, что я живу « зайцем », что в любую минуту кто-то — не знаю кто — вдруг спросит : а почему вы живете в этой квартире ? Или : а почему вы берете бюллетень ? Или : а почему вы читаете в нашем читальном зале ? Откуда это чувство, это постоянное ожидание неприятности или беды ? Может быть, мне подсознательно кажется, что « они » по глазам

могут понять, как я все здешнее, « ихнее » не приемлю и ненавижу ?.. Осознала я это только в ОВИР'е, поймав себя на том, что стараюсь не смотреть в глаза « инспекторам ».

Но почему « закрыты » дневники Кузмина ? Я всегда думала, что он один из самых безобидных для советской власти поэтов : он не только никогда не выступал против и никогда ни в чем антисоветском не был замешан, но даже умер естественной смертью, так что его и посмертно реабилитировать не пришлось. После доверительных разговоров с сотрудниками архива выяснилось, что дневники « закрыты » не за политику, а за « неприличие » : Кузмин был гомосексуалистом. Я знала об этом и, хотя не испытываю никакой симпатии к этой странной породе людей, никогда и подумать не могла, что этот порок (или несчастье) может стать на пути к архивным материалам. « Но меня не сексуальная, а литературная сторона интересует », — убеждала я архивистов. « Нельзя, — был ответ. — Неприлично ». Бедное наше начальство ! И об этом ему надо заботиться : как бы, прочитав записки гомосексуалиста, мы не сгорели от стыда за него или, не дай Боже, не соблазнились...

И все же секс — не политика; здесь еще можно найти лазейку. Мне предложили указать примерное время, когда Кузмин мог упоминать Цветаеву, а « наши хранители сами поищут для вас в его дневниках ». К сожалению, о « нездешнем вечере » они ничего не нашли — не смею думать, что плохо искали, но и поручиться, что Кузмин ничего о нем не записал, не могу. И вдруг — радость : хранители нашли упоминание о Цвета-

еюй. К моему столу в читальном зале подходит милая молоденькая сотрудница с толстенной книгой и, подавая ее мне, смущаясь, предупреждает : « Вам разрешили посмотреть только на странице 685, там упомянута Цветаева ». И правда — упомянута. Под датой « 8 июля 1921 г. » отмечено среди других письмо от Цветаевой.

Тогда, воровато оглядываясь, я все-таки начинаю листать и смотреть то, что у меня в руках. Это 10-ый том дневников Кузмина 1), относящийся ко времени с февраля 1920 г. по август 1921 г. Натыкаюсь на запись (1921) :

« 7 (воскресенье) август.

Умер Блок. Оленька плакала, и Юр. 2) стал резонировать и злобствовать. Как-то неблагоепно это было... А у меня беспокойство, и желанье видеть разных людей и все впечатления Американского ветра и свободной жизни 3)... А придется тоже умирать. Что же я сделал, Боже мой. Все мне кажется легковесным. Сторицын врал, что Глазунов хвалил мою музыку 4), и мне это было приятно. Но вообще-то, вообще-то я очень закис и обленился ».

Еще бы не « закис » и не « обленился », когда жизнь рухнула, когда нечего есть, когда еда — событие. Насколько я заметила при таком беглом просмотре, Кузмин не жалуется на голод, однако меня поразило вот что : эстет и сноб, он ежедневно отмечает, пили ли чай и с чем именно.

Читаю дальше.

« 8 (понедельник).

...Пришла О.Н. и уговорила нас идти на панихиду. Хорошо сделали, что пошли. Все были. Плачут. Слово поэт и нежность, конечно, неотделимо

от него. Многие оплакивали свое прошлое, целую полосу артистической жизни и свою м/ожет/ б/ыть/ близкую смерть. Заплаканные женщины. Трепанная Дельмас рядом со строгой вдовой Блока, и Белый, и Ол. Афан 5). и Ахматова, и Аненков 6) на первом плане вроде фотографа Буллы 7). Бруни, Канкарович, Ершов, Лурье — все. Радловы, /нрзб./. Удивленные, растерянные и заплаканные лица. Солнце, маленькая комната, старые домики, луг на берегу канавки, ладан и слова панихиды. Еле вышли домой. Пили чай...

10 (среда)

С утра бегали к Ник/олаевскому/ мосту. Погода чудесная. Несут открытым. Попы, венки, народ. Были все. Скорее можно перечислить отсутствующих. Белый во главе, что и понятно, но Аненков и Лурье до неприличия выпячивались на первое место, как фотографы. Шел то с Радловой, то с Блоками. Они милы, скромны и домашни. На кладбище праздник Смоленской Божьей Матери. Служили хорошо, но в виде hommag'a пели Чайковского. Как изменился Блок. Как страшно и какой дух тления. Его передержали и пекли на солнце. Тепло, деревья, всё мило для последнего взгляда. Много и праздного народа, спрашивают, кто это Блок. Вот и меня похоронят! А если Юр. раньше меня? Не дай Бог, хотя и его подвергать такому ужасу похорон жестоко. Вас/ильевский/ Остр/ов/ напоминал детство, возвращает неизменно меня к мечтам о житье запечном, или к римскому восторженному миру апокрифов. Долго шли, Оленька устала. Заходили в дом учености, там Коля 8) Юдин получает варенье. ...Вечером заходил еще к Блокам».

В этот же день, возможно, тоже вернувшись с похорон, Ахматова написала « А Смоленская нынче именинница... » Эти стихи как-то перекликаются с дневниковой записью Кузмина. Странно и удивительно восприятие смерти Блока как должного случиться, естественного — а ведь ему всего 40 лет! Может быть, теплый и солнечный день, праздник на кладбище, светлая служба — всё, резко контрастирующее с мучительным и страшным умиранием Блока, вызвали у Кузмина и Ахматовой чувство умиротворения. В просторечьи говорят : « отмучился »...

Приведу еще одну запись Кузмина, помеченную следующим за похоронами Блока днем.

« 11 (четверг)

Бог, вероятно, хранит меня, не дав удачи с Оргом 9), потому что иначе бы меня арестовали, но в ПТО меня обижают без всякого покровительства. Впрочем, аванс выдали, но духов, которые я мечтал продать за 5000 000, не дали »

Лаконично и выразительно. Как легко быть арестованным и как трудно прожить и выжить. Почти невероятно, по-детски жалобно звучат слова « меня обижают ». Это Кузмин, который сам мог покровительствовать в дореволюционном Петербурге, теперь нуждается в протекции кого-нибудь из « новых » деятелей неизвестно откуда взявшегося ПТО — вероятно, это Петроградский Театральный Отдел. И ради чего? Ради того, чтобы « француз с Мартиники XVIII века », как назвала Кузмина Цветаева, получил у новой власти флакон духов, который он « мечтал продать » ! Ахматова и Ходасевич. торгующие селедкой (см.

его очерк «Торговля»), и Кузмин — духами — это ли не символ «расцвета культуры»?

Вот все, что я успела незаконно выписать из «закрытых» дневников Кузмина. Могла ли я не переписать этого, могла ли дать этим записям, на мгновение оказавшимся у меня в руках, опять скрыться в небытии архива? Все, что относится к Блоку и Кузмину, — это наша культура, наша история. Какая же здесь государственная тайна? Вопрос этот, конечно, чисто риторический, потому что государственной тайной в нашей стране пронизана вся жизнь, а то, что касается истории, — особенно. И государственные архивы призваны эту тайну — охранять. Вот мы и дошли до главного слова — охранять.

Нормальному человеку может показаться, что у архивов — три основных функции: собирать, хранить и делать общим достоянием то, что принадлежит нам всем: любящим, знающим, хотящим знать. Вот тут наивный человек и ошибается, потому что на советском языке это называется «принадлежит народу». В любом случае это значит — не нам, не вам и не мне. Потому что от имени «народа» с нами будет говорить директор ЦГАЛИ Н.Б. Волкова, или заведующая Рукописным Отделом Пушкинского Дома К.Д. Муратова, или заведующая Отделом Рукописей Публичной Библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина — фамилии ее не помню, но о разговоре с ней расскажу. Они точно знают, что нужно «народу», а что нет. А вы, хотя бы вы были не просто любознательный читатель, а профессионал, пришедший за материалами для работы, даже и понять не сможете, кто вы-то сами: то ли вам отказы-

вают от имени народа, к которому вы не принадлежите, а он не хочет поделиться с вами своими богатствами; то ли, наоборот, вы и есть народ, который еще не созрел, чтобы знать государственные тайны, и добрые тети вас от этих ненужных — и даже вредных! — знаний оберегают. Волкова поговорит с вами вежливо, обтекаемо, с улыбкой — и не разрешит вам читать ничего, что «закрыто». Муратова говорит прямо (и даже пожилым докторам наук, профессорам): «Я вам ничего не дам, потому что все, что можно напечатать, мы сами опубликуем». В конечном счете «что можно» зависит, безусловно, не от нее, а диктуется откуда-то «сверху». Все-таки мне чем-то нравится ее прямота и детская уверенность, что она и есть тот «народ», которому принадлежат все хранящиеся в Пушкинском Доме материалы. Есть в этом нечто патриархальное, как будто там и спецхрана никакого нет, а просто: не дам и только... И не дает.

В Публичной Библиотеке совсем не патриархально, но зато гораздо более интеллигентно и серьезно. Скажу честно, работать там — удовольствие. А к заведующей Отделом Рукописей я попала вот по какому случаю. Я просматривала дневники Сергея Платоновича Каблукова, человека, известного в свое время литературно-философскому и музыкальному Петербургу. Эти дневники, на мой взгляд, представляют чрезвычайный интерес для истории русской культуры, и я надеюсь когда-нибудь написать о них подробнее. Они охватывают годы с 1909 по 31 декабря 1917. Не знаю, перестал ли Каблуков вести дневник (он

умер в 1921 г.) или последующие тома не сохранились.

Я сидела в читальном зале буквально с утра до вечера, погрузившись в ушедшую жизнь, почти забыв о своих конкретных целях. И вдруг — отказ: тома дневников за 1917 г. не выдаются. Чтобы сообщить мне об этом, меня и пригласили к заведующей отделом. Милая средних лет женщина, с приятной улыбкой и разговаривает доверительно, уверенная, что мы пойдем друг друга с полуслова. Объясняю, что я занимаюсь сейчас Мандельштамом и в этих дневниках рассчитываю найти материалы для его биографии. Она согласно кивает головой и подтверждает, что, конечно, там могут быть эти важные для меня сведения, но... «эти дневники за 1917 г. не выдаются без специального разрешения». Я притворяюсь дурочкой и спрашиваю: почему? «Понимаете, — говорит она тем же доверительным тоном, немножко как взрослый ребенку, и я не понимаю, то ли это взрослый «народ» говорит со мной, своим несмышленьшим-интеллигентом, то ли мудрая народная власть со мной, еще не достигшим сознательности «народом». — Понимаете, это такое время 17-ый год... В этих дневниках много антисоветского...» (Ничего себе: «антисоветское» уже до прихода советской власти!). — «Я понимаю, — опять придуряюсь я, — но ведь меня не это интересует, а только упоминания о Мандельштаме». — «Конечно, конечно, — сочувствует она, — но эти дневники очень взрывчатые...» — «Я не взорвусь», — отвечаю я уже почти прямо. Она снова согласно кивает головой и говорит, что в таком случае я должна принести специальное «отноше-

ние ». Она любезно провожает меня до двери (любезность вызвана тем, что посторонние не имеют права одни находиться в этом помещении), и тут я замечаю, что это самая старая часть библиотеки, построенная в конце XVIII века и в таком виде сохранившаяся, место, где когда-то работал Крылов и бывал Пушкин. Это немного охлаждает мою злость и примиряет с неудачей.

Я ничего не имею против работников архива лично, однако к тому чувству страха, о котором я писала, в отношении их прибавляется какая-то брезгливость к их явно полицейским функциям и постоянное любопытство: а что они думают об этом «про себя», как, например, она рассказала бы о разговоре со мной дома? Неужели ей и впрямь кажется необходимым уберечь меня от этих дневников и эти дневники — от меня? Не знаю.

За последние 10-15 лет советские архивы развивают большую активность в приобретении материалов. Обхаживаются старички и старушки, которые когда бы то ни было имели отношение к литературе, театру, живописи или их деятелям. Учтены возможные владельцы и наследники каких бы то ни было архивов. Старые бумажки стоят теперь денег, за приобретение их архивы иногда платят. Повидимому, гроши, потому что один ленинградский коллекционер, прося моего содействия в покупке рукописей, сказал: «Передайте, что я плачу мало, но все-таки втрое больше, чем Ленинская библиотека». Но дело, конечно, не в деньгах, а в смысле и целях этого накопительства. Естественная задача любого архива — собирать и хранить, не дать затеряться куль-

турным или историческим ценностям. Архив собирает, научные сотрудники обрабатывают, датируют, систематизируют материалы (надо признаться, часто довольно плохо). А там уж начальство решает, что можно пустить в научный оборот — ведь в архивах занимаются прежде всего научные работники, — а что нельзя. Что это за «начальство», я не знаю, думаю, что существует специальная комиссия, решающая, какие из архивных материалов должны находиться на «специальном хранении». Это та же цензура, которая стыдливо именуется «главлит», и так же как цензоры, архивные «главлитчики» невидимы для постороннего глаза. Знаю, что еще не очень давно Главное Архивное Управление было в ведении Министерства Внутренних Дел, теперь же скромно пишется «при Совете Министров». Это однако, дела не меняет, и архивы продолжают осуществлять функции охранителей.

Умерла старая поэтесса и переводчица В.К. Звягинцева. Она жила одна, законных наследников не имела и завещания не оставила. По закону все ее имущество переходило в собственность государства. А дом ее был «полная чаша», потому что его миновали бури времени: в нем не было обысков и арестов и даже пожаров или переездов давным-давно не случалось. Хозяева были люди литературные и театральные, у них собралась прекрасная библиотека; Вера Клавдиевна показывала множество редких поэтических книг с дарственными надписями, рукописи А. Белого и Б. Пастернака, акварели М. Волошина, письма и записки Цветаевой. Не знаю, что делает государство с вещами, но бумаги и книги с автографами посту-

пают в ЦГАЛИ, остальная библиотека — в букинистические магазины, где вскоре появились давние книжечки самой Звягинцевой «Московский ветер» и «На мосту». В день смерти (она умерла в больнице) собрались в квартире Звягинцевой близкие друзья, погрузили, поискали ее интимную переписку, чтобы по ее желанию уничтожить. Не нашли. Зато в хаосе письменного стола наткнулись на письма Цветаевой и волошинские акварели. Их забрали ближайšie друзья Звягинцевой, чтобы в суматохе разбора бумаг они случайно не затерялись. На другой же день они позвонили в ЦГАЛИ, чтобы предупредить об этом и сказать, что передадут всё представителю архива. Думаете, их благодарили? Как бы не так! Их немедленно предупредили, чтобы они никому не показывали писем Цветаевой и не вздумали переписать их для себя. Порядочный человек обычно теряется при таком натиске. Они рассказали мне об этом разговоре, смущаясь от нежелания меня обидеть (они не знали, что у меня есть эти поистине страшные письма, потому что Звягинцева дала мне переписать свои цветаевские автографы) и невозможности нарушить данное ЦГАЛИ слово. В ответ я разразилась несдержанной речью на тему о том, что государство, подведшее Цветаеву под петлю, а Мандельштама толкнувшее в братскую лагерную могилу, не имеет никакого права на их литературное наследство и архивы. «Они вам так говорят и забирают эти бумаги вовсе не потому, что государству это нужно и интересно, а только для того, чтобы скрыть их ото всех! — кипела я. — Этих писем никто никогда больше не увидит. Архив — это еще одна

« братская могила ! » Я оказалась права. Эти письма Цветаевой, как почти весь ее архив, очутились в спецхране.

Мне могут возразить : как же « братская могила », когда советские архивы не только предоставляют свои фонды научным работникам, но и сами издают то « Ежегодник », то « Летопись », то « Встречи с прошлым ». На это отвечу : советская власть в любой своей ипостаси фальсифицирует все, не смущаясь никакими подтасовками. Приведу два примера.

В « Дневнике » Блока за 1920 г. есть запись о Мандельштаме : « Гвоздь вечера — И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь... виден артист » 19). Отточие между словами « привыкаешь » и « виден » поставили не Блок и не я; оно принадлежит составителям или редакторам Сочинений Блока. Н.Я. Мандельштам говорила, что она видела этот текст до « редактирования » : вместо отточия там было что-то о « жиде » или « еврее ». Ну, как же, нельзя : в нашем прогрессивном государстве наш прогрессивный поэт Блок не может быть антисемитом. Не может — значит, и не должен и не был. И « Дневники » и « Записные книжки » Блока « редактируются », чтобы устранить проявления недолжного антисемитизма.

Еще пример. ЦГАЛИ затеял выпуск сборников « Встречи с прошлым », составленных из материалов архива. Во 2-ом выпуске помещена публикация М.А. Рашковой « Марина Цветаева за рубежом (Письма М.И. Цветаевой к В.Ф. Булгако-

ву) » 11). Не буду касаться тенденциозности публикатора, это дело ее совести, а, может быть, недопонимания. Но письма Цветаевой мы имеем право читать так, как она их написала. Случилось, что подлинники этих писем мне случайно дали (потом отобрали, так как оказалось что они на спецхране), и я сверила рукописи с опубликованным текстом. Я обнаружила несколько мелких ошибок и неверно проставленных знаков препинания. Существеннее, что слова « Воскресе » и « Пасху » (стр. 218), написанные Цветаевой с больших букв, напечатаны с маленьких. Но вот в письме 1-м дважды опущены совершенно безобидные упоминания М.Л. Слонима. Перед словами « Страстно хочу на океан » : « Уже просила Слонима похлопотать о продлении мне « отпуска » (с сохранением содержания) до осени ». И после фразы « Мне стыдно Вас просить, знаю, как Вы заняты, знаю и ужасающую скуку "чужих дел" » : « Но Слонима я уже просила ,а больше некого ». Казалось бы, здесь нет ничего « криминального », тем более, что публикатор подчеркивает трудности зарубежной жизни Цветаевой. Дело просто : в отличие от вернувшегося Булгакова Слоним не « прощен », поэтому Цветаева не должна была с ним дружить и обращаться к нему за помощью. Имена других эмигрантских писателей не выброшены из текста писем только потому, что упоминаются в отрицательном контексте. Но самое интересное впереди. Начало 2-го абзаца на стр. 217 читается так :

« Страстно хочу на океан. Отсюда близко. Боюсь, потом никогда не увижу. М/ожет/ б/ыть/,

в Россию придется вернуться или еще что-нибудь»...

Я уже привела фразу о Слониме, с которой начинался этот абзац у Цветаевой. Дальше в рукописи :

« Страстно хочу на океан. Отсюда близко. Боюсь, потом никогда не увижу. М. б., в Россию придется вернуться *) (именно *придется*, — совсем не хочу !) — или еще что-нибудь... »

К слову «вернуться» — сноска, примечание Цветаевой : « *) В случае переворота, не иначе, конечно ! »

Пустяки? Выброшено всего 11 слов из четырех писем? Но это самые значительные слова, характеризующие политическую позицию аполитичной, как принято считать, Цветаевой, ее отношение к советской власти и проблеме возможного возвращения на Родину. Эти слова здесь совсем не случайны : Цветаева обращается к человеку — Булгакову — хотевшему и надеявшемуся вернуться в Советский Союз, неоднократно об этом хлопотавшему. Но с тех пор как имя Цветаевой стало упоминаться и произведения ее появляться в советских изданиях, ее возвращение всячески обыгрывается и трактуется (не без участия дочери Цветаевой, ныне покойной А.С. Эфрон) как акт доброй воли и чуть ли не признание советской власти¹²). Вот и тут, выбросив из цветаевского текста несколько слов, архивисты переворачивают с ног на голову принципиальную позицию поэта. Дескать, уже в 1926 г. (письмо датировано : Париж, 2 января 1926 г.) для Цветаевой мысль о возвращении была естественной, обычной (« вернуться или еще что-нибудь ») и никакой пробле-

мы не было. Это вполне гармонирует с тем, что в заметке публикатора сказано об участии мужа Цветаевой С.Я. Эфрона в евразийстве и Союзе возвращения. Противоречит это только правде. Поэтому о возвращении в Советский Союз С.Я. Эфрона не упомянуто вовсе (тем более о его гибели в лагере), об остальных же членах этой поистине трагической семьи говорится глухо: « В конце 1930-х годов вернулась на Родину и семья Цветаевой: в 1937 году дочь Ариадна (чтобы в 1939 попасть в тюрьму и провести в лагерях и ссылках последующие 17 лет — об этом ни слова, это советская власть себе давно простила — В.Ш.), а в 1939 году сама Марина Ивановна с сыном Муром ». (Она — чтобы, промыкавшись немногим более двух лет, повеситься в Елабуге, он — чтобы 18-ти лет быть призванным в армию и погибнуть, кажется, даже не доехав до фронта). Прочтет неосведомленный читатель эту публикацию и удивится благостной картине: сколько лет Цветаева думала о возвращении и наконец-то в 39-м году смогла вернуться!

Как видите, советский архив существует для того, чтобы обслуживать советское литературоведение или советскую историю. Эти науки извлекут из архивных фондов то, что им годится, где нужно — пригладят, где нужно — обкорнают, где нужно — подтасуют. И все приспособят для нужд советской власти. А будет выгодно — продадут и за границу.

Я слышала, что некоторые доверчивые старые эмигранты, мучимые ностальгией, передают советским коммивояжерам типа Зильберштейна свои архивы. Опомнитесь! Знайте, что вы броса-

ете бумаги дорогих вам людей в братскую могилу, где погребена уже не одна сотня жизней. И если когда-нибудь их оттуда извлекут, вы сами их не узнаете.

Уже закончив эти заметки, я листала для какой-то справки « Неизданные письма » Цветаевой и случайно наткнулась на фразу, напечатанную жирным шрифтом (стр. 254): « В Россию как в хранилище не верю ». Речь шла о том, что мы называем архивными материалами.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ЦГАЛИ, ф. 232 (М.А. Кузмин), оп. 1, ед. хр. 58.

2. Оленька, О. Н. — Ольга Николаевна Арбенина-Гильдебрандт, актриса и художница, жена Ю.И. Юркуна. К ней обращен ряд стихотворений Н. Гумилева и О. Мандельштама. Юр. — Юрий Иванович Юркун, писатель, многолетний близкий друг Кузмина, погиб в Ленинградской тюрьме в 1938 г.

3. Интересно, что примерно к этому времени относится посвященное Америке стихотворение Кузмина « Переселенцы » (не опубликовано).

4. Кузмин был и композитором, автором музыки к собственным стихам (« Духовные стихи », « Александрийские песни » и др), а также к первой постановке драмы А. Блока « Балаганчик ».

5. Ол. Афан. — Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, актриса, подруга Ахматовой.

6. Так у Кузмина. Речь идет о художнике Юрии Павловиче Анненкове, иллюстраторе поэмы Блока « Двенадцать », рисовавшем Блока на смертном одре.

7. В Петербурге были фотографии с такой фамилией.

8. Написано неразборчиво; возможно, « Ноля ».

9. Кто или что такое « Орг » я не знаю, думаю, что какое-нибудь учреждение.

10. А. Блок. Собрание сочинений. М.-Л., « Художественная литература », 1963, т. 7, стр. 371.

11. Валентин Федорович Булгаков (1886-1966) — последний секретарь Льва Толстого, организатор в Москве музея Толстого. В 1923 г. был выслан из Советского Союза на 3 года, но смог вернуться только в 1948 г.

После возвращения работал в Яснополянском музее Толстого. В Праге, где Булгаков провел годы изгнания, он был одно время Председателем Союза русских писателей и одним из редакторов (вместе с М. Цветаевой и проф. С. Завадским) сборника «Ковчег». После отъезда из Праги в 1925 г. Цветаева обращалась к Булгакову за помощью в материальных и бытовых делах.

12. Я сама грешила этим и считаю нужным здесь оправдаться. Начала я заниматься Цветаевой давно, когда не только «моды» на нее не было, но и известна она была в Советском Союзе мало. Влюбившись в ее творчество, я, как и А.С. Эфрон, поначалу считала, что главное — опубликовать Цветаеву, познакомиться с ней читателей, а остальное — пустяки, цель оправдывает средства. Этому очень способствовала почти полная неосведомленность моего поколения в политических судьбах русской эмиграции, ее жизни и развитии русской литературы за рубежом. Судьба любого эмигранта, в том числе и Цветаевой, о которой я кое-что знала, представлялась весьма схематично. И только годы спустя реальная жизнь Цветаевой и ее литературная судьба стали мне по-настоящему понятны. Я поняла, что в литературоведении и истории литературы недопустима никакая фальсификация, даже малейшая. Любые недомолвки, самые вроде бы невинные натяжки и подтасовки искажают облик поэта, его время, историческую правду в целом. Тем более в глазах советского читателя, получающего информацию из одних рук — официальных. «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Если постоянно сопровождать произведения Цветаевой сообщениями о том, какая она была революционерка и только случайно не поняла Октябрьской революции, как она и эмиграция терпеть не могли друг друга, а Цветаева рвалась в Советский Союз — это не может не запасть в голову даже скептически настроенному читателю. С тех пор уже десять лет я ничего не почтала в Советском Союзе о Цветаевой.

Швейцер, Виктория Александровна — родилась в 1932 году в Москве. Окончила филологический факультет МГУ. Много лет занималась творчеством Цветаевой и Мандельштама. Печаталась в журнале «Новый Мир». Работала в Союзе советских писателей, откуда была уволена за организацию среди писателей сбора подписей в защиту Синявского и Даниэля. В 1977 году эмигрировала и в настоящее время живет в Америке.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Письмо неизвестному автору

Дорогой NN,

Мы, к сожалению, не сможем напечатать Вашу статью Не потому, что она плохая или не устраивает нас по своему направлению. «Синтаксис» и задуман как журнал без строго обозначенного направления, без определенной, раз и навсегда заданной программы. Так что разнообразие мнений, спорность, оригинальность и острота индивидуальной постановки вопроса — весьма желательны.

Затруднение в другом: Вы печтаетесь очень много в очень многих журналах. Это Ваше право автора (да и какой же автор не хочет много печататься? !). Но войдите и в психологическое (даже психо-биологическое) положение журнала, который не может быть просто собранием статей или местом публикации авторов, кочующих из одного временного пристанища в другое. В однородно-равномерном распределении текстов пропадает лицо периодического издания и сам автор гаснет в безразличном окружении.

Ведь журнал, помимо прочего, это целостный, живой и развивающийся организм, это некая «личность» и «особь», а не только общественная трибуна, с которой по очереди выступают разные докладчики. Тем более такому небольшому по формату и скромному по материальным условиям изданию, как «Синтаксис», приходится выбирать среди массы материала. Мы надеемся, что и авторы, которые у нас публикуются, в каждом конкретном случае оказывают нам известное предпочтение, как-то ощущая, что вот эта, допустим, персональная статья наиболее уместна именно здесь, в этом контексте. Подобное выявление индивидуальной специфики (автора, книги, статьи, журнала) важнее, нам кажется, любых платформ и программ.

С уважением

Редакция

« ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ »

« Бюллетень » имеет целью оперативно сообщать свежую информацию об образовании и деятельности в Советском Союзе общественных групп, демонстрациях протеста, арестах и насильственных психиатрических госпитализациях, положении узников совести и других фактах, имеющих отношение к правозащитному движению в широком смысле слова (включая национальные движения, защиту прав верующих и т. п.).

« Бюллетень » выходит под редакцией д-ра Кронида Любарского 2 раза в месяц.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

Подписная плата на год (24 номера) :

В Европе : 750 бельг. фр. (110 фр. фр., 50 н. м.).

Вне Европы (США, Канада, Африка) : авиапочтой 900 бельг. фр. (30 дол. США).

Подписка производится через издателя

« Тетрадей Самиздата » —

Anthony de Meeûs

105 drève du Duc, 1170 — BRUXELLES

Деньги направлять на почтовоеkonto « Тетрадей Самиздата » в Брюсселе или почтовым переводом с пометкой « Бюллетень ».

Compte Chèque Postal (CCP) № 000-0971885-42 (Bruxelles).

Во Франции подписка производится только таким образом (не банковскими чеками). При присылке чеков из других стран просьба добавлять 100 бельг фр. (3,5 дол США) на покрытие банковских расходов

« СИНТАКСИС »
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРОВ :

№ 1 : *Н. Рубинштейн* — Когда труба трубила о походе; *Юлий Даниэль* — Выше других; *Андрей Синявский* — « Темная ночь... »; *Лев Копелев* — О смертной казни; *Александр Янов* — Идеальное государство Геннадия Шиманова; *М. Каганская* — Отречение. От « Машеньки » к « Лолите »; *Абрам Терц* — Анекдот в анекдоте; *М. Розанова* — Возвращение. Памяти Галича.

№ 2 : В защиту Александра Гинзбурга; *А. Пятигорский* — В сторону Глюксмана; *Л. Ладов* — Несколько мыслей о России, спровоцированных современными « славянофилами »; *Олег Дмитриев* — Не называя имен (интервью); *Андрей Синявский* — Называя имена (комментарий); *Наталья Рубинштейн* — Дом без поэта; *Игорь Голомшток* — Встреча; *Жорж Нива* — « Вызов » и « провокация » как эстетическая категория диссидентства; *Абрам Терц* — Искусство и действительность; *Аджей Дравич* — Открытое письмо советскому писателю Владимиру Богомолу.

№ 3 : *И. Жолковская (Гинзбург)* — Моя благодарность; *А.А. Зиновьев* — За что боролись, на то и напоролись; *Б. Шрагин* — Сила диссидентов; *Андрей Синявский* — В ночь после битвы; *Андрей Амальрик* — Несколько мыслей о России, спровоцированных статьей Ладова; *Зиновий Зиник* — Соц-арт; *М. Каганская* — Время, назад; *Ю. Вишневская* — О памяти.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редакции</i>	3
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ	
<i>Игорь Померанцев. Око и слеза</i>	4
ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ	
<i>М. Розанова. В кривом зеркале</i>	32
<i>Луи Мартинез. Похвальное слово русской цензуре</i>	46
ПОИСКИ	
<i>Григорий Померанец. Толстой и Восток</i>	56
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО	
<i>Абрам Терц. Отечество. Блатная песня</i>	72
<i>Игорь Голомшток. Феномен Глазунова</i>	119
РУССКИЙ АРХИВ	
<i>Виктория Швейцер. Братская могила</i>	139
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА	157

Журнал «Синтаксис» благодарит составителей сборника «Демократические альтернативы» за материальную поддержку в издании статьи из журнала «Поиски».

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Цена номера 20 фр. франков.

Подписка в редакции на 4 номера — 70 фр. фр.

Пересылка за счет подписчика.

**АЛЕКСАНДРУ ГИНЗБУРГУ, редактору
первого журнала "СИНТАКСИС"
(Москва, Самиздат, 1959-1960),**

- посвящается

